



**УОЛТ УИТМАН**

*ИЗБРАННЫЕ  
СТИХОТВОРЕНИЯ  
И ПРОЗА*



# УОЛТ УИТМАН

## ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПРОЗА

*Переводы, примечания  
и вступительная статья  
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО*

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1944



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Уолт Уитман стал общепризнанным классиком. Длительный период борьбы за предоставление ему почётного места в истории американской — и всемирной — словесности закончился полным триумфом поэта. Одним из очень многих свидетельств прочности и бесспорности его окончательно завоёванной славы является величественный памятник, поставленный ему недавно в Нью-Йорке. Открытие этого памятника с энтузиазмом приветствовали широкие массы Америки, причём американские писатели, выступавшие на этом торжестве, единогласно отметили могучее влияние Уолта Уитмана на передовую литературу страны.

И в Соединённых Штатах, и в Англии литература о нём превратилась в непрерывный поток. Ни об одном из тех знаменитых писателей, которые при его жизни затмевали его, не печатается в настоящее время и десятой доли того количества книг и журнальных статей, какое в последние годы посвящается всё новым исследованиям его биографии и творчества.

Изучение Уитмана в нашей стране началось задолго до того, как его окончательно признали на родине. Настоящее издание является десятым изданием «Листьев травы».

Все входящие в эту книгу переводы стихов заново сверены с подлинниками, многое исправлено, внесены кое-какие дополнения. Даны новые переводы стихов, не входившие ни в одно из предыдущих изданий.

Впервые даны образцы прозы Уолта Уитмана, причём отрывки подобраны так, чтобы представить в наиболее сконцентрированном виде разнообразие прозаических стилей писателя.

В приложении к книге помещены две заметки: «Тургенев и Толстой об Уолте Уитмане» и «Уолт Уитман и Маяковский». Первая из этих заметок частично основана на неизданных материалах. Обе они представляют собою отрывки из неопубликованной работы «Уолт Уитман в русской литературе».

Переводя Уитмана, я отнюдь не стремился к тому, чтобы дать

буквальный подстрочник. Подобные подстрочники при переводе произведений поэзии бывают меньше всего адекватны оригинальному тексту. В буквальном переводе строки стихотворений Уитмана, и без того очень длинные, выходят по-русски чуть не втрое длиннее и теряют весь свой лаконизм, так как русские слова значительно длиннее английских и, кроме того, английский синтаксис сжимает фразу до крайних пределов, что несвойственно нашему синтаксису. Когда Уитман, например, говорит:

Fierce-throated beauty, —

нам приходится переводить описательно:

Красавец с неистовой глоткой, —

ибо нельзя же сказать: «неистово-глочный красавец»!

И там, где у Уолта Уитмана фраза из трёх слогов:

Bat-eyed priests  
(бэт-айд пристс), —

по-русски приходится ставить целых двенадцать слогов:

Священники с глазами летучих мышей.

Это в четыре раза удлинняет строку и убивает весь её ударный эффект, а «летучемышеглазые священники» по-русски, к сожалению, немыслимы.

Для того чтобы сделать ритмику своего перевода более близкой к ритмике подлинника, я считал необходимым жертвовать иногда некоторыми менее ценными словами и фразами, то есть делал то, что делают все переводящие поэтов стихами. Думаю, что это единственный метод, ибо при подстрочном переводе стихи Уитмана становятся прозой, несколько не похожей на подлинник.

О принципах перевода Уолта Уитмана на русский язык см. мою книгу «Высокое искусство», М., 1941, стр. 15—18.

Краткий перечень книг и статей о жизни и творчестве Уитмана, которыми я пользовался при написании вводной статьи, дан в конце настоящей книги.

# УОЛТ УИТМАН, ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

## I

Вальтер Уитман родился 31 мая 1819 г. в штате Нью Йорк, на пустынном и холмистом Долгом острове, на берегу Атлантического океана, в малолюдном посёлке Уэст Хиллз (Западные холмы).

Долгий остров, по-английски Лонг Айленд, своей формой похож на рыбу. Это длинная полоса земли протяжением в 120 миль, тесно примыкающая к тому островку, на котором расположен Нью Йорк.

Там уже двести лет жили деды и прадеды Уитмана, патриархальные, крепкие семьи голландских и английских фермеров, полупомещики, полукрестьяне. Жили сытно, работали дружно, книг не читали, любили лошадей, ходили в церковь, пили эль, доживали до глубокой старости.

Мать поэта, Луиза, всю жизнь оставалась неграмотной. Она происходила из голландской семьи. Её девичья фамилия — Ван Вельзор. Это была молчаливая, радушная, смышлёная женщина, вечно занятая детьми и хозяйством. Кроме Вальтера, у неё было восемь человек детей. Вальтер и в зрелые годы любил её, как малый ребёнок. До конца её жизни обоих связывала необыкновенная дружба.

Её голландская кровь сказывалась в нём очень заметно. Было что-то фламандское, рубенсовское в его крупной, массивной фигуре, в его голубоватых глазах, в его нежной и тонкой коже, в его золотистом румянце, в его спокойной, флегматической походке и, главное, в его замечательно ровном, несуетливом характере.

С отцом у него не было особенной близости. Отец, сумрачный, молчаливый гигант, нередко покидал свою ферму, уходил в соседние городки и посёлки и работал там в качестве плотника: ставил деревянные срубы домов, строил сараи, амбары.

Одно время Вальтер помогал ему плотничать, но, кажется, очень недолго, так как вообще никогда не стеснял себя долгой работой, и почти до сорокалетнего возраста не было такого труда, которому он отдался бы со страстью. Да никто и не требовал от него такого

труда, ибо отношения людей, среди которых он жил, были так благодушны и дружественны, что в «Песне о себе» он мог с полным основанием сказать:

Всё вокруг было нежно ко мне, мне не на что жаловаться.  
Поистине, на что же мне жаловаться!

В этих словах была проповедь, но, в сущности, их можно прочесть как его биографию, ибо действительно вся его жизнь до самых седин протекала без обид и напастей, и атмосфера, которая окружала его, кажется необыкновенно уютной, особенно если сравнить его молодость с молодостью какого-нибудь русского автора, принадлежавшего приблизительно к тем же социальным кругам.

Он был четырёхлетним ребёнком, когда его семья временно перекочевала на жительство в Бруклин, в новый дом, построенный руками отца. В настоящее время Бруклин — часть Нью Йорка, а тогда это был самостоятельный город, который всё ещё назывался посёлком. Мальчика отдали в бруклинскую школу. Учился он не хорошо, не плохо, на учителей производил впечатление увальня.

Едва ему исполнилось одиннадцать лет, его взяли из школы, и там же, в Бруклине, он поступил на службу к одному адвокату в качестве конторского рассыльного. Задумчивый, тяжеловесный, медлительный, едва ли он был подходящим рассыльным, но и его хозяин и хозяйские дети оказались очень добры к нему: заботились о его воспитании, старались приохотить его к чтению, записали его в библиотеку, где он мог прочитать и «Тысячу и одну ночь», и Вальтер Скотта, и Купера.

Словом, работа была очень нетрудная, однако, вскоре он бросил её и стал работать в качестве лакея у некоего бруклинского доктора, от которого, впрочем, тоже ушёл через несколько месяцев и поступил учеником в типографию местной еженедельной газетки, издававшейся бруклинским почтмейстером.

Здесь тоже были ласковы к нему и не угнетали его чрезмерной работой. Типографскому ремеслу обучал его старый наборщик, вскоре подружившийся с ним. К своим рабочим владелец типографии относился вполне идиллически: водил их в церковь, ездил с ними на прогулку верхом, устраивал для них экскурсии за город. Ни обид, ни притеснений, ни грубостей мальчик и здесь не видал. И так как у него было много досуга, он стал сочинять для газеты стишки и статейки, которые почтмейстер охотно печатал, хотя в них не чувствовалось большого таланта.

Впрочем, вскоре Вальтер покинул газету почтмейстера и поступил в другую типографию, где с первых же дней приобрёл репутацию неисправимого лодыря. Его новый хозяин, издатель бруклинской газетки «Звезда», насмешливо заметил о нём: «Ему даже трястись будет лень, если на него нападёт лихорадка».

Так он дожил до семнадцати лет. Широкоплечий и рослый, он казался гораздо старше. Больше всего он был похож на матроса. Каждое лето, когда ему надоедало работать в Бруклине, он уезжал на родную ферму, в глубь своего любимого острова, и часто уходил к берегам океана полежать на горячих песках.

Эта ранняя склонность к одиночеству, к задумчивому и молчаливому созерцанию океанских просторов является главнейшей чертой его биографии. Океан, песчаное побережье и небо — таков был привычный ему беспредельно широкий пейзаж, который в течение всей его жизни могуче влиял на него. С детства у него перед глазами были только безмерные дали, только огромный и пустой горизонт: ничего случайного, мелкого. С детства природа являлась ему в самом грандиозном своём выражении. Не отсюда ли та космическая широта его образов, та «океаничность» его чувств и мыслей, которая и сделала его впоследствии гениальным поэтом?

До поры, до времени эти чувства и мысли, невнятные ему самому, были словно заперты в нём, таились под спудом и никак не сказывались ни в его биографии, ни в его первоначальных писаниях.

Было похоже, что ему навсегда суждено затеряться в огромной толпе третьестепенных литературных ремесленников. Едва ли нашёлся бы хоть один человек, который в то время рискнул бы предсказать ему великое литературное будущее.

## 2

В 1836 г. он переселился в Нью Йорк и там поступил в типографию наборщиком, но через несколько месяцев снова уехал на родину, где и прожил безвыездно четыре с половиною года.

Другие юноши как раз в этом возрасте покидают родные места и, надолго бросаются в жизнь, как в бой, чтобы либо погибнуть, либо завоевать себе славу, а он удалился в своё захолустье и сделался школьным учителем в небольшом посёлке Вавилоне. Эта работа не сулила ему ни карьеры, ни денег, но зато у него оставалось много свободного времени, чтобы бродить по берегам океана или целыми часами купаться в той бухте, на которой стоит Вавилон. А так как родители обучавшихся у него малышей были обязаны по очереди кормить его у себя за столом, жить впроголодь ему не пришлось.

Впрочем, вскоре он забросил учительство, переехал в городишко Гентингтон, в двух шагах от родительской фермы, и там сделался редактором ежедневной газетки «Житель Долгого острова», для которой добыл в Нью Йорке типографский пресс и шрифты. Он не только редактировал эту газету, но и был единственным её наборщиком, репортёром, сотрудником. И каждый вечер превращался в почтальона: развозил её на собственной кляче по окрестным городам и полям. Впоследствии, на склоне лет, он любил вспоминать с благодарностью,

как приветливо встречали его под вечерними звёздами фермеры, их жёны и дочери. Впрочем, и этой работе скоро пришёл конец, так как, не желая тратить на газету слишком много труда, он стал выпускать её всё реже, пока ежедневный листок не превратился у него в еженедельный. Издатели отказались финансировать дело, находившееся в таких ненадёжных руках, и через несколько месяцев Вальтер снова учил детей в одном из соседних посёлков.

Казалось, он нарочно старался не сделать себе карьеры. Живя в стране, где богатство играло такую громадную роль, он ни разу не соблазнился мечтой о наживе. «Доллары и центы для него не имели цены», — вспоминал о нём позднее его друг. В этот, ранний период жизни и творчества Уитмана особенно наглядно сказались хаотичность и выбкость его социальной природы. С одной стороны, он как будто рабочий, типографский наборщик. Но в то же время он потомственный фермер, крепко привязанный к старинному родовому гнезду, до старости не вполне оторвавшийся от деревенской земли. И в то же время он интеллигент: школьный учитель, редактор газет, журналист.

Таких хаотически-многообразных людей было немало в тогдашней Америке. Ещё так слаба была в этой стране дифференциация классов, что один и тот же человек сплошь и рядом совмещал в себе и мелкого буржуа, и рабочего, и крестьянина, и представителя интеллигентских профессий. Тридцатые годы были не в силах придать каждому гражданину заокеанской республики твёрдый, устойчивый, законченный облик. Даже в более позднюю пору — в пятидесятых годах — Карл Маркс имел все основания сказать о Соединённых Штатах, что, хотя там уже имеются классы, но они всё ещё «не фиксированы»<sup>1</sup>. Процесс их стабилизации происходил очень медленно. В эпоху детства и юности Уитмана классы в его стране были так текучи, подвижны, изменчивы, границы между ними были до такой степени стёрты, что всякий легко и свободно переходил из одной общественной группы в другую, и сегодняшний иммигрант-пролетарий мог завтра же превратиться в земельного собственника.

Другой особенностью ранней биографии Уитмана является та атмосфера покоя, приволья, уюта, беспечности, которой были окружены все его дела и поступки.

Борьба за существование являлась, конечно, и для него обязательной, ведь он, как всякий «человек из низов», был вынужден в поте лица добывать себе хлеб, но какая лёгкая была эта борьба по сравнению с той, которую приходилось вести писателям-разночинцам в тогдашней Европе!

В те самые годы в далёкой России, в Петербурге Бенкендорфа и Дуббельта, мыкался по сырым и вонючим «петербургским углам» сверстник Вальтера Уитмана — Некрасов, и не было ни одного дня

---

<sup>1</sup> К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта.

в его жизни, когда бы перед ним не вставал ультиматум: либо каторжный труд, либо голодная смерть. С полным правом говорил он о себе и о своей «окровавленной» музе:

Чрез бездны тёмные Насилия и Зла,  
Труда и Голода она меня вела.

Весною 1841 г. Уолт Уитман, после долгого безвыездного проживания в родном захолустье, наконец-то переселился в Нью Йорк и там семь лет кряду неприметно работал в различных изданиях то в качестве наборщика, то в качестве сочинителя очерков, рассказов и злободневных статей.

В 1842 г. он, по заказу какого-то общества трезвости, написал роман: против пьянства для мелкого журнала «Новый Свет». В журнале об этом романе печатались такие рекламы:

**Внимание любителей трезвости!**

**«ФРАНКЛИН ИВЕНС, ИЛИ ГОРЬКИЙ  
ПЬЯНИЦА»**

*современная повесть*

**ЗНАМЕНИТОГО АМЕРИКАНСКОГО АВТОРА.**

Посвящается всем Обществам Трезвости,  
всем ненавистникам пьянства  
во всех Соединённых Штатах Америки.

**Читайте и восхищайтесь!**

*Талант автора и захватывающий сюжет  
ручаются за несомненную сенсацию!*

*Повесть написана специально для журнала  
«Новый Свет» одним из первоклассных романи-  
стов Америки, дабы способствовать великому  
делу и вырвать американское юношество из пас-  
ти Дьявола спиртных напитков!*

Впоследствии Уитман любил утверждать, будто, сочиняя этот антиалкогольный роман, он часто отрывался от рукописи и выбегал вдохновляться стаканами джина в соседний питейный дом под вывеской «Оловянная кружка».

Роман был неправдоподобен и прямолинейно наивен. Чувствовалось, что автор несколько не увлечён своей темой. И такое же равнодушие во всех его тогдашних писаниях. Ни одной самостоятельной мысли, ни одного сколько-нибудь смелого образа. Ещё до приезда в Нью Йорк он сделался членом господствующей Демократической партии и, послушно выполняя её директивы, являлся одним из её бесчисленных:

рупоров. В 1846 г. он состоял редактором партийной газеты «Бруклинский орёл», но и здесь не проявил никакой самобытности<sup>1</sup>.

Тогдашняя Демократическая партия, при всей своей радикальной фразеологии, была не чужда империалистских тенденций и всячески противилась скорейшему освобождению негров. Уитман в то время вполне разделял взгляды партии. Когда «демократы» настаивали на завоевании Мексики, он писал в своей газетке, что «мексиканцы невежественны, абсолютно коварны и полны предрассудков» и что «во имя прогресса» необходимо отнять у них землю. В негритянском вопросе он, в полном соответствии с установками партии, сурово порицал тех «фанатиков», которые требуют немедленного освобождения негров.

Казалось, что квиетизм, пассивность, непротивление злу на всю жизнь останутся главными чертами его личности. Ньютон Арвин отмечает в своей книге, что, хотя смолodu Уитман был отличным пловцом, он никогда не любил плыть против ветра или бороться с течением. «Я обладал необыкновенной способностью очень долго лежать на воде, — вспоминал поэт в беседе с Тробелом. — Ляжешь на спину, и пусть тебя несёт куда хочет. Плыть таким образом я мог без конца».

Эти слова чрезвычайно характерны для самых первооснов психологии Уитмана. «Думая о подлинном Уитмане, — проникновенно говорит Ньютон Арвин, — отнюдь не представляешь себе человека, который неистово бьётся с идущими на него огромными волнами, готовыми его сокрушить; чаще всего он рисуется нам спокойным пловцом, который лёг на спину и плывёт, вверяясь дружественной и надёжной стихии».

Вообще протест, негодование, гнев были чужды его темпераменту. Один из его друзей вспоминает, что даже докучавших ему комаров он не отгонял от себя. «Мы, остальные, были доведены комарами до бешенства, а он не обращал на них внимания, словно они не кусали его».

И вечно он напевал, беспрестанно мурлыкал какую-нибудь мажорную песню, но говорил очень редко, по целым неделям ни слова, хотя слушателем был превосходным. Никогда ни на кого не сердился, никогда ни на что не жаловался. Ко всему был равнодушно радушен.

Одевался он в те ранние годы, как щёголь: лёгкая тросточка, бутоньерка, цилиндр. Больше всего ему нравилось праздно бродить по Нью Йорку, внимательно и благосклонно разглядывая бурно kloкочущие толпы прохожих.

<sup>1</sup> Теперь его газетные статьи полностью опубликованы в книгах Роджерса и Блэйка «Накопление сил» (1920) и в двухтомнике Эморн Холлоуэя «Несобранная поэзия и проза Уолта Уитмана» (1921). Критик Ньютон Арвин недавно исследовал их и обнаружил, что Уитман в те годы был типичным представителем консервативного крыла Демократической партии.

Был он тогда большим театралом. В качестве представителя прессы он пользовался правом свободного входа во все многочисленные театры Нью Йорка. Лучшие артисты всего мира выступали тогда перед нью-йоркскими зрителями. Особенно увлекался поэт приезжею итальянскою оперою: те же знаменитые певцы и певицы, которые с таким успехом гастролировали в сороковых годах и у нас в Петербурге,—Рубини, Альбони, Полина Виардо и др.,—пели несколько сезонов в Америке, и Уитман считал их гастролы важнейшими событиями своей впечатлительной юности.

По бесконечно длинному Бродвею (главная артерия Нью Йорка) проносились тогда со звоном и грохотом бесчисленные допотопные омнибусы. На козлах восседали быстроглазые дюжие весельчаки-кучера. Среди них были свои знаменитости: Типпи, Патси Ди, Портняжка, Франк-Великан, Старый Слон и др. Завидев Уитмана, они дружески здоровались с ним и охотно сажали его рядом с собою. Он читал им вслух отрывки из шекспировского «Юлия Цезаря», стараясь перекричать многоголосую улицу, а они с подлинно извозничьим юмором рассказывали ему всякие — по большей части не слишком пристойные — эпизоды из собственной жизни. С одним из них как-то случилось несчастье: он свалился с козел и сильно расшибся. Пострадавшего отправили в больницу; его семья осталась бы без хлеба, если бы Уитман не заменил его на козлах. Два месяца он ездил кучером, с вожжами в руках по Бродвею и каждую субботу отдавал жене больного всю свою недельную выручку.

Вообще друзей у него было множество, особенно среди простонародья. Уже тогда стала проявляться в нём та черта его личности, которую он называл «магнетизмом»: плотники, мастера, паромщики встречали его, как лучшего друга, и приветствовали с большой фамильярностью.

И ему уже было за тридцать, и голова у него поседела, а никто, даже он сам, не догадался, что он гений, великий поэт. Приближаясь к четвёртому десятку, — так неторопливо и мирно, — он не создал ещё ничего, что было бы выше посредственности: вялые рассказы в стиле Эдгара По, которому тогда все подражали, с обычными аллегориями, Ангелами Слёз и лунатиками, да дилетантские корявые стихи, которые, впрочем, янки-редактор напечатал однажды с таким примечанием: «Если бы автор ещё полчаса поработал над этими строчками, они вышли бы необыкновенно прекрасны», да нескладные публичные лекции, да мелкие газетки, которые он редактировал, истощая терпение издателей, — вот и вся его тогдашняя литературная деятельность. Раз (в 1848 г.) он даже ездил на гастролы в Новый Орлеан сотрудничать в газете «Полумесяц», но не прошло и трёх месяцев, как он снова сидел у Пфаффа в любимом кабаке на Бродвее, вспоминая ново-орлеанские напитки:

— Какой там чудесный кофе! Какие вина! И французский коньяк!

Так, без всякого плана, без всяких честолюбивых порывов прожил он половину жизни, не гонясь ни за счастьем, ни за славой, довольствуясь только тем, что само плыло к нему навстречу, постоянно сохраняя такой вид, будто у него впереди ещё тысяча лет.

### 3

И вдруг вся его жизнь изменилась. Он стал как бы другим человеком. Вместо того чтобы плыть по течению, лениво отдаваясь волнам, он впервые в жизни наметил себе далёкую, трудно достижимую цель и отдал все силы на преодоление преград, которые стояли между ею и им. Впервые обнаружилась в нём его гениально-упрямая, фламандская воля. Начался наиболее трудный, наиболее важный, подлинно творческий период его биографии.

Правда, одно время казалось, что жизнь его всё ещё движется по прежнему руслу. Возвратившись с юга, он опять поселился в Бруклине и там примкнул было к новой политической партии («Свободная земля», Free Soil), более левой, чем та, к которой он принадлежал до той поры, но вскоре совсем отошёл от политики, стал всё чаще уединяться на родительской ферме или на берегу океана, исписывая груды бумаги своим тонким, извилистым почерком, и его семья с удивлением почувствовала, что теперь-то, впервые, у него появился какой-то жизненный план. Уж не собирается ли он выступить перед публикой с лекциями? «Он наготовил их целые бочки!» — говорила его простодушная мать о бесчисленных черновиках его рукописей<sup>1</sup>.

Но, конечно, всецело отдаться своему новому труду он не мог. Приходилось хоть изредка писать для газет. К тому же его отец стал всё чаще прихварывать, и надо было, с топором в руках, помогать ему в его работе — на постройке бруклинских домов.

И всё же пятилетие с 1849 по 1855 г., в жизни Уитмана совершенно особое: это годы такого целеустремлённого, сосредоточенного, упорного творчества, какого до той поры он не знал никогда, годы напряжённой духовной работы. Эта-то работа и привела его, заурядного газетного подёнщика, к созданию бессмертной книги, завоевавшей ему всемирную славу.

Принимаясь за писание книги, Уитман ставил себе такие задачи, которые могли быть по плечу только гению. И первая задача была в том, чтобы сделать эту книгу подлинно американской, народной, выражающей, так сказать, самую душу Америки.

В то время в публицистике Штатов не раз высказывалась горькая истина, чрезвычайно обидная для национального самолюбия гордой за океанской республики, что всё её искусство подражательно, что она ещё

<sup>1</sup> «Walt Whitman, Poet of Democracy» by Hugh Fausset, London, 1942, p. 68.

не создала своего, подлинно американского, искусства, которое могло бы сравняться с достижениями «феодальной» Европы,—так по инерции называли Европу тогдашние янки, хотя вся Европа давно уже кипела в капиталистическом индустриальном котле, и её «феодализм» стал явлением архивно-музейным.

И так как американцы сороковых и пятидесятых годов были непоколебимо уверены, что во всём остальном они уже опередили Европу, они не могли примириться со своим отставанием в области литературы, поэзии, музыки, живописи. Хотя в литературе у них уже проявили себя большие таланты — и Вашингтон Ирвинг, и Фенимор Купер, и только что умерший Эдгар По, и философ-моралист Эмерсон, утончённый мастер слова, представитель рафинированных интеллигентских кругов Новой Англии, и сладкозвучный Лонгфелло, автор «Псалма жизни» и «Песен о рабстве», — но почти все они были свято верны европейским традициям, руководились в своём творчестве европейскими вкусами, и национально-американского было в них мало. Соединённым Штатам, по убеждению Уитмана, были нужны не такие поэты, и мало-помалу им овладела уверенность, что именно он, Вальтер Уитман, бруклинский наборщик, «любовник нью-йоркской панели», призван явиться миру как зачинатель новой национально-американской поэзии.

«Задача стояла перед ним колоссальная, — говорит его новейший биограф Гью Айенсон Фоссет, — и он решил выполнить её, хотя бы для этого потребовалась вся его жизнь. Он решил сделаться голосом, телом, многоликим воплощением своих Штатов».

По весьма правдоподобной догадке того же писателя, это решение впервые приняло определённую форму в 1848 г., когда Уитман, совершив путешествие в Новый Орлеан и обратно, побывал в семнадцати штатах и проехал — по озёрам, по рекам, по прериям — свыше четырёх тысяч миль.

«Американцы — самый поэтический народ из всех, когда-либо обитавших на нашей планете, — таково было кичливое убеждение, с которым Уитман вернулся из странствий. — Соединённые Штаты сами по себе есть поэма».

Поэма, ещё никем не написанная, и Уолт Уитман решил написать её.

Впоследствии он не раз утверждал, что вся его книга, от первой строки до последней, продиктована ему тогдашней Америкой. В одном стихотворении у него так и сказано: «Всякий, кто захочет узнать, что же такое Америка, в чём отгадка той великой загадки, какой является для всех чужеземцев атлетическая демократия Нового Света, пусть только возьмёт эту книгу, и вся Америка станет понятна ему».

«Это самая американская книга из всех, какие были написаны в стихах или в прозе, — вторили ему позднейшие критики. — Это наиболее верное зеркало молодой демократии США».

Какова же была та Америка, которая отражена в этом зеркале? На какой социальной почве созрела и выросла «самая американская книга», «воплотившая в себе душу Америки»?

Почва была очень богатая. Америка переживала тогда счастливейший период своего бытия, период головокружительных удач и светлых, хотя и неосуществимых, надежд.

Главным населением Штатов всё ещё было фермерство. Оно до поры до времени пользовалось невиданной в мире свободой, ибо, по выражению В. И. Ленина, основой земледелия в тогдашней Америке было «свободное хозяйство свободного фермера на свободной земле — свободной от всех средневековых пут, от крепостничества и феодализма с одной стороны, а с другой и от пут частной собственности на землю»<sup>1</sup>.

Эта «свобода от пут частной собственности на землю» коренилась в большом изобилии девственных, незаселённых земель, которые в течение всей юности Уитмана государство щедро раздавало желающим.

Очень заметной чертой в психологии каждого рядового американца, жившего в ту эпоху, было радостное и горделивое чувство, что его родная страна гигантски разрастается на юг и на запад. В 1816 г. создан был новый штат Индиана, в 1817 г. — новый штат Миссисипи, в 1818 г. — штат Иллинойс, в 1819 г. — штат Алабама, в 1821 г. — Миссури, и это сказочно быстрое овладение широчайшими пространствами свободной земли от Атлантического океана до Тихого закончилось к началу пятидесятых годов присоединением Невады, Утаха и «золотого дна» — Калифорнии.

В такой короткий срок, когда одно поколение ещё не успело смениться другим, то есть на протяжении лишь одной человеческой жизни, небольшое государство, ютившееся между Атлантическим океаном и рекой Миссисипи, вдруг превратилось в одну из величайших держав, завладевшую огромным континентом. Было тринадцать штатов, а стало тридцать четыре.

Беспримерно быстрое расширение границ Северо-американской республики вошло в сознание многих современников Уитмана как великий национальный триумф.

Для того, чтобы конкретно представить себе, что это было за чувство, достаточно прочесть хотя бы несколько строк из той заносчивой речи, которую цитирует Уитман в одной из своих позднейших статей.

«Ещё недавно, — говорил оратор, типичный янки уитманской эпохи, — Соединённые Штаты занимали территорию, площадь которой не достигала и 900 тысяч квадратных миль. Теперь это пространство расширено до четырёх с половиною миллионов! Наша

<sup>1</sup> «Аграрный вопрос в России». Собр. соч. В. И. Ленина. М.—Л., т. XII, стр. 269.

страна стала в пятнадцать раз больше Великобритании и Франции, взятых вместе. Её береговая линия, включая Аляску, равна окружности всего земного шара. Если бы поселить в ней людей так же густо, как живут они в нынешней Бельгии, её территория могла бы вместить в себе всех обитателей нашей планеты. И так как самым обездоленным из сорока миллионов наших сограждан обеспечено у нас полное (?) равноправие, мы можем с той гордостью, которая была свойственна древнему Риму в дни его величайших побед, заявить, что мы требуем» и т. д., и т. д., и т. д.<sup>1</sup>

И главное: огромные пространства этой плодородной земли были ещё невозделанной новью. Даже в 1860 г. из двух тысяч миллионов акров, которыми в ту пору владела республика, была использована лишь одна пятая часть. Четыре пятых ещё предстояло заселить и возделывать. И потому незаселённые земли были предоставляемы в полную собственность всякому, кто мог и хотел потрудиться над ними. Это, конечно, на многие десятилетия замедлило пролетаризацию Штатов. Всякий неудачник, всякий бездомный бедняк мог легко превратиться в фермера и спастись от угрожающего ему фабричного гнёта: наличие вольных, тучных, хлебородных земель отвлекало рабочие руки от заводов и фабрик, чрезвычайно высоко поднимало заработную плату и сильно тормозило создание той однородной пролетарской массы, для формирования которой необходимо раньше всего безземелье. Тогдашний американский рабочий был полуфабричный-полуфермер, и это до поры до времени отчуждало его от его европейских товарищей, так как шансов на житейский успех у него было значительно больше.

Конечно, лучшие земли были скоро расхватаны, и многие участки, принадлежавшие государству, очутились в руках у спекулянтов; всё же земли было вдоволь, и в этом изобилии свободной земли заключалась основная причина, замедлившая классовую дифференциацию США.

Но большинством американского народа эта временная ситуация была принята за всегдашнюю. Народ простодушно уверовал, что все катастрофы уже позади, а впереди безоблачно-счастливая, богатая, сытая жизнь, обеспеченная ему «конституцией братства и равенства» чуть ли не до скончания века. Нельзя было даже представить себе, какие могут случиться события, которые способны помешать расцвету всеобщего преуспеяния и счастья.

Позднее Уитман выразил общераспространённое убеждение своих сограждан, давая в известном двестишести такую наивно-радостную формулу прогресса:

В мыслях моих проходя по Вселенной, я видел, как  
малое, что зовётся Добром, упорно спешит к бессмертью,  
А большое, что называется Злом, спешит раствориться,  
исчезнуть и сделаться мёртвым.

<sup>1</sup> Речь вице-президента Колфакса. Уитман приводит её в «Democratic Yistas».

Демократия не знала тогда, что, чуть только на Западе иссякнут свободные земли, социальная борьба разыграется с беспощадной свирепостью, которая во многом перещеголяет Европу; что не за горами то время, когда власть над страной окажется в руках плутократии; что под прикрытием того же республиканского «братства и равенства» возникнет Америка банков, миллиардеров и трестов. Ничего этого американская демократия не знала тогда, и ей чудилось, что перед нею прямая дорога к беззаботному и мирному довольству, ещё невиданному на нашей планете.

В этой-то счастливой атмосфере всеобщего оптимизма и протекла бестревожная молодость Уитмана. В ней-то и создалась его книга. Зачинателями той благополучной эпохи, её апостолами считались в ту пору президент Соединённых Штатов Томас Джефферсон и один из его крупнейших преемников на президентском посту — Эндрю Джексон. Эти люди были кумирами тогдашних демократических масс. Отец Уитмана преклонялся пред ними и, по распространённому среди американских патриотов обычаю, назвал их именами своих сыновей. Поэзия Уитмана, как мы ниже увидим, носит на себе живой отпечаток этой демократической эры Джефферсона и Джексона. Новейший исследователь его социально-политических и философских идей, Ньютон Арвин, так и говорит в своей книге: «Он рос и созревал в такие годы, которые, хоть и видели много страданий и бедствий, были годами роскошного роста материальных богатств и радостного расширения наших границ. Он принадлежал к тому социальному слою, который всё ещё был молод и полон надежд. Он общался только с такими людьми, которые при всей своей «малости» чувствовали, что перед ними весь мир и что под руководством партии Джефферсона и Джексона они неизбежно придут к благоденствию, довольству и сытости»<sup>1</sup>.

Этим-то оптимистическим чувством доверху полна книга Уитмана, потому что, как мы ниже увидим, она явилась всесторонним отражением не только тогдашней американской действительности, но и тогдашних американских иллюзий.

## 5

Издателя для книги не нашлось. Уитман набрал её сам и сам напечатал (в количестве 800 экземпляров) в одной маленькой типографии, принадлежавшей его близким друзьям. Книга вышла в июле 1855 г., за несколько дней до смерти его отца, под заглавием «Листья травы». Имени автора на переплёте не значилось, хотя одна из напечатанных в книге поэм была озаглавлена так: «Поэма об американце Уолте Уитмане», и в ней была такая строка:

Я, Уолт Уитман, сорви-голова, американец, и во мне вся вселенная.

<sup>1</sup> «Whitman» by Newton Arvin, 1938, p. 18.

До выхода своей книги он называл себя Вальтером. Но Вальтер для английского уха — аристократическое, «феодалное» имя. Поэтому, чуть только Уитман создал свою простонародную книгу, он стал называть себя не Вальтер, а гораздо фамильярнее — Вальт (Walt — по английской фонетике — Уолт). Это всё равно, как если бы русский писатель вместо Фёдора стал называть себя Федей.

Книга вышла в коленкоровом зелёном переплёте, на котором были оттиснуты листья и былинки травы.

К книге был приложен дагерротипный портрет её автора, — седоватый человек в рабочей блузе, широкополая шляпа, обнажённая шея, небольшая круглая бородка, одна рука в кармане, другая на бедре и — тонкое, мечтательное, задумчивое выражение лица. И этой одеждой, и позой автор подчёркивал свою принадлежность к народным «низам».

Книгу встретили шумною бранью. «Бостонский вестник» («Boston Intelligencer»), отражавший вкусы наиболее чопорных кругов Новой Англии, заявил, что это «разнородная смесь высокопарности, самохвальства, чепухи и вульгарщины». Другие рецензии были ещё более резки: «Эта книга — сплошной навоз». «Автор столько же смыслит в поэзии, сколько свинья в математике».

Популярный в то время критик Руфус Гризуолд (Rufus Griswold), ныне известный лишь тем, что он злобно-клеветнически искажил биографию Эдгара По, посвятил «Листьям травы» такие ядовитые строки в юмористическом еженедельнике «Момус»:

Ты метко назвал свою книгу, дружище!  
Ведь мерзость — услада утробы твоей!  
И «Листья травы» — подходящая пища  
Для грязных скотов и вонючих свиней.

А людям гадка твоя книга гнилая,  
Заразная, чумная книга твоя,  
И люди твердят, от тебя убегая:  
«Ты самая грязная в мире свинья!»<sup>1</sup>

Очень удивился бы автор свирепой рецензии, если бы ему сказали тогда, что именно за эту «чумную», «заразную» книгу Уолту Уитману поставят в Нью Йорке памятник, что она будет переведена на десятки языков всего мира и станет в глазах миллионов людей самой замечательной книгой, какую когда-либо производила Америка.

То и дело почтальон приносил Уолту Уитману новые экземпляры его книжки: это те известные писатели, которым он посылал её в дар, с негодованием возвращали её. Некоторые прилагали при этом гневные и злые записки. Знаменитый поэт Джеймс Лауэлл кинул её в огонь.

И вдруг пришло письмо от самого Эмерсона, наиболее авторитетного

---

<sup>1</sup> Перевод этой стихотворной рецензии мой. Цитирую по книге Edgar Lee Masters'a. — К. Ч.

из всех американских писателей, пользующегося огромным моральным влиянием на читательские массы страны. Так как Эмерсон жил в ту пору в деревне Конкорд (неподалеку от Бостона), принято было называть его конкордский мудрец. Каждая его статья, каждая публичная лекция были событиями американской общественной жизни, и потому можно себе представить, как взволновался Уолт Уитман, когда получил от него такое письмо:

«Только слепой не увидит, какой драгоценный подарок ваши «Листья травы». Мудростью и талантом они выше и самобытнее всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю эту книгу, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье» и т. д., и т. д.<sup>1</sup>

Этот восторг Эмерсона объясняется, главным образом, тем, что Эмерсон увидел в книге Уитмана свои собственные идеи и чувства, к которым, как ему показалось, Уолт Уитман, «человек из народа», пришёл самостоятельным путём.

Получив это горячее письмо, Уитман удалился на восточный берег своего Долгого острова и там в уединении провёл всё лето, сочиняя новые стихи для нового издания «Листьев травы». Впоследствии он называл это лето «счастливейшим периодом всей своей жизни». Осенью он опять появился в Нью-Йорке и, убедившись, что его обруганная критиками книга остаётся нераспроданной на книжных прилавках, решил принять отчаянные меры, чтобы привлечь к ней внимание читателей. В Нью-Йорке и в Бруклине у него, как у старого журналиста, были дружеские связи в нескольких газетных редакциях, и он своеобразно воспользовался этими связями: написал хвалебные заметки о себе и о собственной книге и попросил напечатать их под видом рецензий!

Вот одна из этих саморекламных статей, написанная им для «Ежедневного бруклинского Таймса»:

«Чистейшая американская кровь, — здоров, как бык, — отличного телосложения, — на всём теле ни пятнышка, — ни разу не страдал головной болью или несварением желудка, — аппетит превосходный, — рост шесть футов, — никогда не принимал никакого лекарства, — пьёт одну только воду, — любит плавать в заливе, в реке или в море, — шея открытая, — ворот рубахи широкий и гладкий, — лицо загорелое, красное, — лицо дюжего и мускулистого любовника, умеющего крепко обнять, — лицо человека, которого любят и приветствуют все, особенно подростки, мастеровые, рабочие, — вот каков этот Уолт Уитман, родоначальник нового литературного племени».

В таком же духе написал он о себе в журнале «Democratic Review»: «Наконец-то явился среди нас подлинный американский поэт! Довольно с нас жалких подражателей! Отныне мы становимся сами собой... Отныне мы сами зачинаем гордую и мощную словесность! Ты во-время явился, поэт!»

---

<sup>1</sup> Полностью письмо Эмерсона напечатано ниже, на стр. 194.

Новейшие биографы Уитмана оправдывают эту саморекламу твёрдой убеждённостью поэта, что его книга насущно нужна человечеству. «В своих глазах, — говорит, например, мистер Гью Фоссет, — он был не просто частное лицо, сочинившее диковинную книгу, которой, пожалуй, суждено остаться непонятой, — нет, он считал себя голосом новой породы людей, которые придут к самопознанию только благодаря его книге»<sup>1</sup>.

Нет сомнения, что это было именно так. Мы видели, что никакого личного честолюбия, никакого карьеризма в характере Уитмана не было. Даже в юные годы он всегда охотно оставался в тени, и безвестность не была ему в тягость. Несомненно, он не написал бы своих самохвальных заметок, если бы не верил в великую миссию, которую на его плечи возложила история.

В этой своей миссии он не усомнился ни разу, и для того, чтобы окончательно посрамить маловеров, полностью напечатал в новом издании «Листьев травы» (1856) хвалебное письмо Эмерсона, не спросив разрешения у автора, причём даже на переплёте оттиснул приветственную фразу из письма.

Это несколько не помогло его книге. Напротив, ругательства критиков ещё пуще усилились. Спрос на неё был совершенно ничтожен. Казалось, она потерпела окончательный крах.

Единственным человеком, который верил тогда в счастливую судьбу этой книги, был её обесславленный автор. Отвергнутый, осмеянный всеми, он один продолжал утверждать, что его книгой начинается новая эра в истории американской поэзии, и восклицал, обращаясь к Нью Йорку:

Ты, город, когда-нибудь станешь знаменит оттого,  
Что я в тебе жил и пел.

В ту пору это казалось нелепой бравадой. Но понемногу, начиная с 1860 г., в разных концах Америки стали появляться одинокие приверженцы «Листьев травы». Эти энтузиасты провозгласили Уитмана учителем жизни и сплотились вокруг него тесным кольцом. Впрочем, было их очень немного, и они не имели большого влияния на вкусы своих соотечественников.

Первая настоящая слава пришла к Уитману из-за океана — из Англии, во второй половине шестидесятых годов, причём и там его признали на первых порах отнюдь не те «широкоплечие атлеты из Народа», от лица которых он создавал свои песни, а люди старинной духовной культуры, тончайшие ценители искусств. Открыл его Олджернон Суинберн, последний великий поэт викторианской эпохи.

---

<sup>1</sup> «Walt Whitman» by Hugh l'Anson Fausset, p. 105.

В одной из своих статей он сравнил Уитмана с гениальным Вильямом Блэйком, а позднее посвятил ему стихи, в которых обратился к нему с горячим призывом:

Хоть песню пришли из-за моря,  
Ты, сердце свободных сердец!

Стихи были напечатаны в сборнике «Предрассветные песни» («Songs before Sunrise») и озаглавлены: «Вальтеру Уитману в Америку».

«У твоей души, — говорилось в стихах, — такие могучие крылья, её вещие губы пылают от пульсации огненных песен... Твои песни громче урагана... Твои мысли — сонмище громов... Твои звуки, словно мечи, пронзают сердца человеческие и всё же влекут их к себе — о, спой же и для нас свою песню».

Вскоре оттуда же, из Англии, Вильям Россетти, член прерафаэлитского братства, написал Уолту Уитману, что считает его подлинным «основоположником американской поэзии» и что Уитман, по его убеждению, «далеко превосходят всех современных поэтов громадностью своих достижений». Письмо явно отражало восторженное мнение об Уитмане того круга английских художников, поэтов, мыслителей, в котором вращался автор. Это было мнение и Данте Габриэля Россетти, и Уоттс-Дэнтон, и Вильяма Морриса, и Бэрн Джонса, и Мэдокса Брауна и многих других, так или иначе примыкавших к прерафаэлитскому братству. Вильям Россетти обнародовал в Лондоне сокращённое издание «Листьев травы», и это издание завоевало Уитману таких почитателей среди англичан, как шекспировед Эдуард Дауден, историк итальянского Ренессанса Джон Эддингтон Саймондс, — лучшие представители той старинной — якобы «феодалной» — культуры, на которую Уитман так грозно обрушивался в своих «Листьях травы».

Саймондс об этой книге писал: «Ни Гёте, ни Платон не действовали на меня так, как она», — и посвятил ей большую статью, где изображал Уолта Уитмана чудотворным целителем отчаявшихся, потерявших веру людей.

Там же, в Англии, в тех же кругах, нашлась женщина, которая всей жизнью своей доказала, каким колоссально-огромным может быть влияние поэзии Уитмана.

«Мне и в голову не приходило, — заявила она, — что слова могут перестать быть словами и превратиться в электрические токи. Хотя я человек довольно сильный, я буквально изнемогала, читая иные из этих стихов. Словно меня мчали по бурным морям, по вершинам высоких гор, ослепляли солнцем, оглушали грохотом толпы, ошеломляли бесчисленными голосами и лицами, покуда я не дошла до бесчувствия, стала бездыханной, полумёртвой. И тут же рядом с этими стихами — другие, в которых такая спокойная мудрость и такое могущество мысли, столько радостных, солнечных, широких просторов, что омытая ими душа становится обновлённой и сильной».

Это была Анна Гилкрест, вдова известного автора классической биз-

графини Вильяма Блэйка, талантливая, широкообразованная, пылкая женщина. Восхищённая книгой Уитмана, она заочно влюбилась в него, предложила ему в откровенном письме своё сердце (которое он очень деликатно отверг), приехала из Англии со всею семьёю в Америку и стала лучшим его другом до конца своих дней, пропагандируя его книгу в американской печати.

И это не единственный случай такого мощного влияния поэзии Уитмана. Эдуард Карпентер, английский поэт, моралист и философ, в одной из своих статей заявил:

«О влиянии Уитмана на моё творчество я здесь не упоминаю потому же, почему я не говорю о влиянии ветров или солнца. Я не знаю другой такой книги, которую я мог бы читать и читать без конца. Мне даже трудно представить себе, как бы я мог жить без неё! Она вошла в самый состав моей крови... Мускулистый, плодородный, богатый, полнокровный стиль Уолта Уитмана делает его навеки одним из вселенских источников нравственного и физического здоровья. Ему присуща широкость земли».

«Вы сказали слово, которое нынче у самого господина бога на устах», — писал он Уитману в одном из своих восторженных писем.

«Он обрадовал меня такою радостью, какой не радовал уже многие годы ни один из новых людей, — писал позднее Бьернстерне-Бьернсон. — Я и не чаял, чтобы в Америке ещё на моём веку возник такой спасительный дух! Несколько дней я ходил сам не свой под обаянием этой книги, и сейчас её широкие образы нет-нет да и нагрянут на меня, словно я в океане и вижу, как мчатся гигантские льдины, предвестницы близкой весны!»

И всё же должно было пройти ещё полвека, чтобы слава Уитмана вышла далеко за пределы небольших литературных кружков.

## 6

Поэзию Уолта Уитмана невозможно понять, не уяснив себе раньше всего одной из важнейших особенностей его душевного склада.

Те английские и американские критики, которые пытаются истолковать его книгу, игнорируя в нём эту черту, терпят неизбежный провал, потому что здесь доминанта всего его творчества.

Если бы нужно было в двух-трёх словах обозначить эту доминанту, это основное, центральное качество Уитмана, которым он отличается от всякого другого поэта, которое составляет самую суть его личности, источник всех его вдохновений и величайших литературных побед, я сказал бы, что вся его писательская сила — в необыкновенно живом, устойчивом, никогда не исчезающем чувстве беспредельной широты мироздания.

В той или иной степени это чувство присуще каждому. Человек живёт в своём узком быту и вдруг вспоминает, что он окружён мириа-

дами солнц, что наша земля лишь пылинка в вечно струящемся Млечном пути, что миллиарды километров и миллионы веков окружают нашу жизнь во всемирном пространстве и что, например, те лучи, которые дошли до нас от звёзд Геркулеса, должны были десятки тысячелетий нестись сквозь «лютую стужу междузвездных пустот», прежде чем мы увидели их. Эта «лютая стужа междузвездных пустот» ощущается нами лишь изредка, когда мы посетим планетарий или очутимся в поле, вдали от людей, наедине «с полунощною бездною»:

Я ль нёсся к бездне полунощной?  
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?  
Казалось, будто в длани мощной  
Над этой бездной я повис.

Но каждого человека это чувство охватит на мгновение, на час, а потом отойдёт и забудется, заслонённое повседневной житейщиной.

Чувство это — для человечества новое; животные совершенно не знают его. Вследствие биологической своей новизны оно не успело ещё прочно укрепиться в человеческой психике.

А Уолт Уитман носил это чувство всегда; оно сказывалось даже в его неторопливой походке, даже в его серо-синих фламандских глазах. Недаром провёл он полжизни на пустынном берегу океана. Мы не знаем другого поэта, который до такой степени был бы проникнут ощущением астрономической бесконечности времён и пространств. Никакого мистицизма тут не было. Это было живое, реальное чувство, постоянно сопутствовавшее всем его мыслям. Любого человека, любую, самую малую, вещь, какие встречались ему на пути, он видел, так сказать, на фоне «междузвездных пустот». На этом же фоне он воспринимал и себя самого:

Я лишь точка, лишь атом в пловучей пустыне миров...

Потому-то его стихи так часто кажутся стихами астронома:

Я посещаю сады планет и смотрю, хорошо ли растут,  
Я смотрю квинтильоны созревших и квинтильоны незрелых.

Характерна его любовь к астрономическим цифрам — к миллионам, квинтильонам, миллиардам:

Триллионы вёсен и зим мы уже давно истощили.  
Но в запасе у нас есть ещё триллионы и ещё триллионы...

Миллионы солнц в запасе у нас...

Эта минута — она добралась до меня после миллиарда  
других, лучше её нет ничего...

Астрономия, небесная механика именно в пору юности Уитмана сделала огромные успехи в Америке. Первые обсерватории — в Цинциннати, в Филадельфии, в Кембридже — строились именно в сороковых

и пятидесяти годах. Из книги Ньютона Арвина мы недавно узнали, что Уитман в молодости любил астрономию чуть ли не больше всех прочих наук. Не потому ли истины небесной механики так часто у него превращались в стихи?

Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки,  
Если бы я и вы, и все миры, сколько есть, и всё, что  
на них и под ними, снова в эту минуту свемись  
к бледной текучей туманности, это была бы  
безделица при нашем долгом пути.

Мы вернулись бы снова сюда, где мы стоим сейчас,  
И отсюда пошли бы дальше, всё дальше и дальше.  
Несколько квадрильонов веков, немного октильонов  
кубических миль не задержат этой минуты,  
не заставят её торопиться,

Они — только часть, и всё — только часть.  
Как далеко ни смотри, за твоею далью есть дали.  
Считай, сколько хочешь, неисчислимы года.

В книге Уитмана нет ни единой строки, которая не была бы создана под напугом таких ощущений:

Великие мысли пространства и времени теперь осеняют меня,  
Ими я буду себя измерять.

Для таких астрономических душ, которые измеряют всё окружающее  
миллионами миль и миллиардами лет, особенно ясна и ощутительна  
мгновенность, текучесть, изменчивость всех вещей и явлений:

Цветы у меня на шляпе — порождение тысячи веков...

Тем дороже ему эти цветы, что он осязательно чувствует, какие  
безмерности в них воплотились.

Сознавая и себя вовлечённым в этот вечный круговорот вещества, он  
чувствует у себя за спиной миллионы веков и бесконечную цепь  
доисторических предков, начиная с простейшей амёбы:

Долго трудилась вселенная, чтобы создать меня...

Вихри миров, кружась, носили мою колыбель...

Сами звёзды уступали мне место...

И покуда я не вышел из матери, поколения направляли мой  
путь,

Мой зародыш в веках не ленился.

Ничто не могло задержать его

и т. д.

И такие же миллионы веков у него впереди:

Я завещаю себя грязной земле, из которой я вырасту моей  
любимой травой,

Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под  
подошвами.

Такое живое чувство круговорота материи могло возникнуть лишь в середине XIX века, когда на мировоззрение мелкобуржуазной интеллигенции Европы и Америки стали властно влиять новейшие открытия геологии, биохимии, палеонтологии и других естественных наук, переживавших тогда бурный расцвет. Именно в эту эпоху естественные науки выдвинули и обосновали закон эволюции как единственный всеобъемлющий принцип научного постижения мира. Уитман с его живым ощущением текучести, изменчивости всего существующего, не мог не найти в эволюционных теориях опоры для своих космических чувств. Глубина этих теорий оказалась недоступна ему, но их широта была прочувствована им до конца, ибо он и здесь, как везде, раньше всего поэт широты. И так как естественные науки пятидесятых—шестидесятых годов открыли человеку колоссально расширенный космос, Уолт Уитман стал первым великим певцом этого нового космоса:

Слава позитивным наукам!

Да здравствует точное знание!

Вот геолог, этот работает скальпелем, а тот математик.

Джентльмены, вам первый поклон и почёт!

Его «Поэма изумления при виде воскресшей пшеницы» есть подлинно научная поэма, где эмоционально пережита и прочувствована химическая трансформация материи. Если бы те учёные, которые повествовали о ней в своих книгах, — хотя бы Юстус Либих, автор «Химических писем», и Яков Молешот, автор «Круговорота жизни», столь популярные и в тогдашней России, — были одарены поэтическим даром, они написали бы эту поэму именно так, как она написана Уитманом.

В этом стихотворении он говорит о миллионах умерших людей, для которых в течение тысячелетий земля является всепожирающим кладбищем.

Куда же ты девала эти трупы, земля?

Этих пьяниц и жирных обжор, умиравших из рода в род?

Куда же ты уволокла это мясо, эту гнусную жижу?

Сегодня её не видно нигде, или, может быть, меня надувают.

Вот я проведу борозду моим плугом, я глубоко войду

в землю лопатой и переверну верхний пласт,

И под ним, я уверен, окажется вонючее мясо...

Вглядитесь же в эту землю! рассмотрите её хорошо!

Может быть, каждая крупинка земли была когда-то частицей смертельно больного — и всё же смотрите!

Прерии покрыты весенней травой,

И бесшумными взрывами всходят бобы на грядках.

И протыкают воздух изящные копыта лука,

И каждая ветка яблони усеяна гроздьями почек...

И летняя зелень невинна и с величавым презрением громоздится над пластами прокисших покойников.

Какая химия!

Вообще, когда читаешь стихотворения Уитмана, ясно видишь, что те самые популярно-научные книги, которые оказали такое большое влия-

ние на идеологию наших «мыслящих реалистов» шестидесятых годов и раньше всего на их вождя и вдохновителя Писарева, — книги Либиха, Дюбуа-Реймона, Фохта, Клода Бернара и Дарвина — были достаточно близко известны автору «Листьев травы».

Иногда в его стихах чувствуется даже привкус вульгарного материализма той бюхнеровской «Матери и силы», при помощи которой разночинец Базаров пытался приобщить к нигилизму старосветских русских «феодалов».

Но своеобразие Уитмана в том, что идеи этой позитивистской доктрины пятидесятых — шестидесятых годов он перевёл в область живых ощущений, часто поднимая их до высоких экстазов. Это вышло у него совершенно естественно, ибо он был по всей своей духовной природе «космистом» и «широкие мысли пространства и времени» были с юности органически присущи ему.

## 7

Однако роковая особенность поэзии Уитмана в том, что она в значительной мере была «предумышленной», как выразился Роберт Луиз Стивенсон. Не довольствуясь своими вдохновениями, хаотически-могучими и бурными, Уитман с аккуратностью педанта составил себе целый реестр сюжетов, которые должен разрабатывать «поэт демократии», и в соответствии с этим реестром по готовой, тщательно разработанной схеме компоновал свои «Листья травы», то есть подгонял стихи к своим теориям.

Такая схематичность поэзии Уитмана особенно сильно сказалась в стихах, которые посвящены демократии. Эти стихи почти все «предумышлены», и потребовалась вдохновенность и темпераментность Уитмана, чтобы, при всех этих схемах, поэзия осталась поэзией.

Раньше всего он был твёрдо уверен, что по-настоящему понять демократию может лишь такой «космист», каким является он.

«Только редкий космический ум художника, одарённый бесконечностью, может постигнуть многообразие океанических свойств народа», — утверждал он в одной из позднейших статей.

И так как его «космический ум» тяготел ко всяческой широте и ко всякому множеству, он и в американском народе видел раньше всего «многообразие океанических свойств».

«Вы только подумайте, — писал он в послесловии к «Листьям травы», — вы только вообразите себе теперешние Соединённые Штаты, эти 38 или 40 империй, спаянных воедино, эти шестьдесят или семьдесят миллионов равных, одинаковых людей, подумайте об их одинаковых жизнях, одинаковых страстях, одинаковых судьбах; об этих бесчисленных нынешних толпах, которые клопочут, бурлят вокруг нас и которых мы — неотделимые части! И подумайте для сравнения, какое ограниченно-тесное было поприще у прежних поэтов,

как бы гениальны они ни были! Ведь до нашей эпохи они и не знали, не видели множественности, кипучести, биения жизни, и похоже на то, что космическая и динамическая поэзия толпы, которая теперь у каждого в душе, до сих пор и не была возможна».

В то время как писались эти строки, «одинаковость» миллионов американских сердец была уже разоблачённым мифом: быстрая дифференциация классов уже к середине шестидесятых годов сделала Америку ареной самой ожесточённой борьбы буржуазной демократии с демократией батраков и рабочих.

Но Уитман до конца своих дней оставался во власти оптимистических иллюзий той неповторимой эпохи, когда он создавал свои первые песни.

Придав этим иллюзиям планетарно-широкий размах, свойственный его «астрономическому» ощущению жизни, он задумал всю вселенную преобразить в демократию, вовлечь, в свой демократический космос не только людей, но и деревья, и горы, и звёзды, и при этой грандиозной демократизации космоса окончательно оторвался от реальной действительности.

«Нет ни лучших, ни худших — никакой иерархии! — говорил он в своих «Листьях травы». — Все вещи, все деяния, все чувства так же равны, как и люди»; «и корова, понуро жующая жвачку, прекрасна, как Венера Милосская»; «и листочек травинки не менее, чем пути небесных светил»; «и глазом увидеть стручок гороха превосходит всю мудрость веков»; «и душа не больше, чем тело, и тело не больше, чем душа». «И клопу, и навозу ещё не молились, как должно: они так же достойны молитв, как самая высокая святыня».

Я поливаю корни всего, что возросло...

Или, по-вашему, плохи законы вселенной, и их надобно сдать в починку?..

Древесная жаба — шедевр, выше которого нет!

И мышь — это чудо, которое может одно пошатнуть секстильоны неверных!

Вселенское всеравенство, всетождество! Он верил, что наука, для которой каждый микроб так же участвует в жизни вселенной, как и величайший из нас, для которой у нас под ногами те же газы, те же металлы, что на отдалённых солнцах, для которой даже беззаконная комета движется по тем же законам, что и мячик играющей девочки, он верил, что это научное восприятие мира утверждает, расширяет в современной душе небывалое чувство всеравенства.

Слово «идентичность» (одинаковость, тождество) — любимое слово Уолта Уитмана. Куда ни взглянет, он видит родственную близость вещей, словно все они сделаны из одного материала. И дошло до того, что, какую вещь ни увидит, про всякую он говорит: это — я! Здесь не только «предумышленная» схема, но и живое органическое

чувство. Многие его поэмы построены именно на том, что он ежеминутно преобразается в новых и новых людей, утверждая этим своё равенство с ними.

Часто это выходит у него эксцентрично. Например, в поэме «Спящие» он преобразился в любовницу, которая ночью принимает любовника: «Я женщина, я принарядилась, причесалась и жду, — ко мне пришёл мой беспутный любовник...» «Молча встал он вместе со мною с кровати, и я чувствую горячую жидкость, которую он оставил во мне».

На следующей строке поэт превратился в старуху:

Не у старухи, а у меня морщинистое жёлтое лицо.  
Это я сижу глубоко в кресле и штопаю своему внуку чулки.

На следующей строке он — вдова:

Я вдова, я не сплю и смотрю на зимнюю полночь,  
Я вижу, как искрится сияние звёзд на бледной обледенелой  
земле.

На следующей строке он уже не человек, а предмет:

Я вижу саван, я — саван, я обмотан вокруг мертвеца, я в гробу.

Увидев беглого негра, за которым погоня, такую же погоню он чувствует и за собой:

Я — этот загнанный негр, это я от собак отбиваюсь ногами,  
Вся преисподняя следом за мною.  
Щёлкают, щёлкают выстрелы.  
Я за плетень ухватился, мои струпья сцарапаны,  
кровь сочится и каплет,  
Я падаю на камни, в бурьян,  
Лошади заупрямились, верховые кричат, понукают их,  
Уши мои — как две раны от этого крика,  
И вот меня бьют с размаху по голове кнутовищами.

«У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда раненым»,  
Этим чувством всеравенства, всетождества он мечтает заразить и нас,  
ибо без этого чувства что же такое весь будущий строй? Охваченный этим чувством, он начинает твердить, что всюду его двойники, что мир — продолжение его самого: «Я весь, не вмещаюсь между башмаками и шляпой...»

Под Ниагарой, что, падая, лежит, как вуаль, у меня на лице!..  
Мои локти — в морских пучинах, я ладонями покрываю всю  
землю!

О, я стал бредить собою, вокруг так много меня!

Для него не преграда ни времена, ни пространства: лёжа на песке своего Долгого острова, он, янки, шагает по старым холмам Иудей рядом с юным и стройным красавцем Христом.

Доведя до последнего края это фантастическое чувство — чувство равенства и слиянности со всеми, — он порывисто, с раскрытыми объятиями бросается к каждой вещи и каждую словно гладит рукою (ведь каждая — родная ему!) и сейчас же торопится к другой, чтобы приласкать и другую: ведь и эта прекрасна, как та, — и громоздит, громоздит на страницах хаотические груды, пирамиды различнейших образов, бесконечные перечни, списки всего, что ни мелькнёт перед ним, — каталоги, прейскуранты вещей (как не раз утверждали враждебные критики), веруя в своём энтузиазме, что, стоит ему только назвать без всяких прикрас эти вещи, — и сами собою неизбежно возникнут поэзия, красота и так называемое парение духа.

Вот, например, его поэма «Привет мирозданию», озаглавленная почему-то по-французски: «Salut au Monde!»:

«О, возьми меня за руку, Уолт Уитман, — обращается он к себе. — Сколько быстро бегущих чудес! Что это ширится во мне, Уолт Уитман? Что это там за страны? Какие люди и какие города? Кто эти младенцы? Одни спят, а другие играют. Кто эти девочки? Кто эти замужние женщины? Какие реки, какие леса и плоды? Как называются горы, которые высятся там в облаках? Неужели полны жильцов эти мириады жилищ? Во мне широта расширяется и долгота удлиняется, во мне все зоны, моря, водопады, леса, все острова и вулканы».

Вызвав в себе экстаз широты, он вопрошает себя:

«Что ты слышишь, Уолт Уитман?»

И отвечает себе на целой странице:

«Я слышу кастаньеты испанца, я слышу, как кричат австралийцы, преследуя дикую лошадь, я слышу, как вопит араб-муэдзин на вышке своей мечети, я слышу крик казака, я слышу бормотание еврея, читающего псалмы и предания, я слышу ритмические мифы Эллады и могучие легенды Рима, я слышу... я слышу... я слышу...»

Исчерпав в таком каталоге всевозможные «звучания» различных народов, поэт задаёт себе новый вопрос:

«Что ты видишь, Уолт Уитман?»

И начинается новый каталог:

«Я вижу огромное круглое чудо, несущееся в неизмеримом пространстве, я вижу вдали — в уменьшении — фермы, деревушки, развалины, тюрьмы, кладбища, фабрики, замки, лачуги, хижины варваров, палатки кочевников; я вижу, как изумительно быстро сменяются свет и тьма; я вижу отдалённые страны... Я вижу Гималаи,

Алтай, Тянь-Шань, Гаты; я вижу гигантские выси Эльбруса, Казбека... я вижу Везувий и Этну, я вижу Лунные горы и Красные Мадагаскарские горы... я вижу парусные суда, пароходы, иные столпились в порту, иные бегут по воде, иные проходят через Мексиканский залив, иные — мимо мыса Лопатки, иные скользят по Шельде, иные — по Леме, иные разводят пары». И так дальше — много страниц.

И снова: «Я вижу, я вижу, я вижу...» «Я вижу Тегеран, я вижу Медину... я вижу Мемфис... я вижу всех рабов на земле, я вижу всех заключённых в темницах, я вижу хромых и слепых, идиотов, горбатых, лунатиков, пиратов, воров, убийц, беспомощных детей и стариков...» И так дальше — несколько страниц...

«И я посылаю привет всем обитателям земли... Вы, будущие люди, которые будете слушать меня через много веков, вы, японцы, евреи, славяне, — привет и любовь вам всем от меня и от всей Америки! Каждый из нас безграничен, каждый нужен, неизбежен и велик! Мой дух обошёл всю землю, сочувствуя и сострадая всему. Я всюду искал друзей и товарищей и всюду нашёл их, и вот я кричу:

«Да здравствует наша вселенная!»

«Во все города, куда проникает солнечный свет, проникаю и я, на все острова, куда птицы летят, лечу вместе с ними и я...»

Вот в сокращённом виде эта знаменитая поэма, над которой столько издевались, которую в своё время не хотел напечатать ни один американский журнал, на которую написано столько смехотворных пародий.

Если это и каталог, то каталог вдохновенный. Правда, он требует вдохновения и от читателя, но какая же самая гениальная поэма осуществима без вдохновений читателя? Недаром Уитман так часто твердил, что его стихи — наши стихи. Воспринимая их, мы должны сами творить их, и если у нас хватит таланта, мы действительно ощутим восторг бытия, отрешимся от муравьиного быта и словно на стратостате взлетим над землёй. Эта способность «расширять широту и удлинять долготу» особенно выразилась в его столь же знаменитой поэме «Переправа на бруклинском пароходе».

Он задумывается о будущих людях, которые через много лет после его смерти будут всё так же переезжать из Бруклина в Нью Йорк, и обращается к этим будущим, ещё не родившимся, людям, к своим далёким потомкам с такими необыкновенными стихами:

Время — ничто, и пространство — ничто,

Я с вами, люди будущих столетий.

То же, что чувствуете вы, глядя на эту воду, чувствовал

когда-то и я,

Так же, как освежает вас это яркое, весёлое течение реки,

освежало оно и меня,

Так же, как вы теперь стоите, опершись о перила, стоял

когда-то и я.

Поэт говорит о себе, как о давно умершем, обращаясь к ещё не родившимся:

Я тоже, как и вы, много раз, много раз пересекал эту реку,  
Видел ослепительный солнечный блеск за кормой,  
Видел отражение летнего неба в воде,  
Видел тень от своей головы, окружённую лучистыми спицами  
в залитой солнцем воде.

Я тоже был живой, как и вы, и этот холмистый Бруклин был  
моим.

Я тоже шагал по манхаттанским улицам и купался в окрестных  
водах.

Обращаясь к этим будущим, ещё не рождённым, людям и продолжая говорить о себе, как о давно погребённом покойнике, он опять-таки устанавливает полную «идентичность» своих ощущений с ощущениями этих людей. Смерти нет, есть вечная трансформация материи.

Я верю, что из этих комьев земли выйдут и любовники,  
и лампы.

Смерть не ставит границы между прошлым поколением и будущим. Люди для Уитмана — капли воды, вовлечённые в бесконечный круговорот бытия: между облаком, туманом и волной океана — кажущаяся, формальная разница. Та же разница между живыми и мёртвыми:

Смерти воистину нет,

А если она и есть, она ведёт за собою жизнь, она не  
подстерегает её, чтобы прикончить её,

Ей самой наступает конец, едва только появится жизнь.

Отрешившись от всего индивидуального, личного, он тем самым освобождается и от ужаса смерти, и смерть возникает пред ним как мудрая и благодатная сила природы, вечно обновляющая жизнь вселенной:

Могучая спасительница, ближе!

Всех, кого ты унесла, я пою, я весело пою мертвецов,

Утонувших в любовном твоём океане,

Омытых потоком твоего блаженства, о смерть!

О личном бессмертии он не заботится: судьба отдельных капелек не занимает того, у кого перед глазами океан. Он — поэт миллиардов, отсюда его слепота к единицам. Всё частное, случайное, индивидуальное, личное было ему недоступно. Глядя на землю из своей стратосферы, различая издали только многомиллионные толпы, где каждый равен каждому, где все, как один, он не видел, не чувствовал отдельных человеческих душ. Человечество было для него муравейником, в котором все муравьи одинаковы. Во всей его

книге нет ни одной — буквально ни одной! — человеческой личности, и даже в грандиозной поэме, где он так вдохновенно оплакивает смерть президента Линкольна, самобытная личность этого национального героя Америки, в сущности, совершенно отсутствует. Это реквием по общечеловеку, плач всякого любящего о всяком любимом. Даже в многочисленных любовных стихах, составляющих в «Листьях травы» особый цикл — «Адамовы дети», является не такая-то женщина с такой-то родинкой, с такой-то походкой, единственной, неповторяемой в мире, а общеженщина, в которой он видит раньше всего её многообразные черты, но совершенно не чувствует обаяния её человеческой личности.

Из бурлящего океана толпы нежно выплеснулась ко  
мне одна капля  
И шепнула: люблю тебя, покуда не сгину!

Вот и всё, что он может сказать о той женщине, которая полюбила его. «В вас я себя вливаю, — твердит он своим возлюбленным, — тысячи будущих лет я воплощаю чрез вас», — но где та женщина, что согласится служить для мужчины лишь безыменным, безличным воплощением грядущих веков?

Давно уже вся мировая литература, особенно русская, проникновенно открыла, что поэзия любви начинается именно с индивидуализации любимого, с ощущения его единственности, его центральности, его исключительности, его «ни с кем несравнимости».

Только в мире и есть, что лучистый,  
Детский задумчивый взор!  
Только в мире и есть — этот чистый,  
Влево-бегущий пробор.

Фет.

Нехлюдов в «Воскресении» Толстого увидел, влюбившись в Маслову, «ту исключительную, таинственную особенность», которая отличала её от всех прочих людей и делала её «неповторимой», «единственной».

Это чувство совершенно неведомо автору «Листьев травы».

«Я славлю каждого, любого, кого бы то ни было», — постоянно повторяет поэт.

Кто бы ты ни был, я руку тебе на плечо возлагаю,  
чтобы ты стал моей песней.

Я близко шепчу тебе на ухо:

«Много любил я мужчин и женщин, но тебя я люблю больше  
всех».

Но ни один человек не захочет, чтобы его любили такой алгебраической, отвлечённой любовью — в качестве «кого бы то ни было», одного из миллиона таких же.

Впрочем, для Уолта Уитмана даже один человек — не один:

Он не один!

Он — отец тех, кто станут отцами и сами,  
Многолюдные царства таятся в нём,  
гордые, богатые республики,

И знаете ли вы, кто придёт от потомков  
потомков его!

Даже в одном человеке для него — мириады людей!

Художническое проникновение в психологию отдельных людей было ему совершенно несвойственно. Все его попытки в этой области неизменно кончались провалом. Когда в своём романе «Франклин Ивенс», в своих повестях и рассказах он попробовал дать несколько беллетристических образов современных ему женщин и мужчин, получились тусклые шаблоны ниже среднего литературного уровня.

Для изображения конкретных людей у него не было никаких дарований.

И мудрено ли, что многие критики увидели в его «Листьях травы» апологию безличия, стадности, заурядности, дюжинности?

Уитман хорошо понимал, что эта апология безличности порочит воспеваемую им демократию, ибо внушает читателю тревожную мысль, что в недрах американского демоса человеческая личность непременно должна обезличиться, потерять все свои индивидуальные краски.

Это заставило Уитмана и в «Листьях травы» и во всех комментариях к ним заявлять с особою настойчивостью, будто, воспевая многомиллионные массы людей, он в то же время является поэтом свободной и необузданной личности.

Иначе, по его словам, и быть не может, ибо, согласно его утверждению, «демократия, как уравнильница, насаждающая общее равенство одинаковых, средних людей, содержит в себе и другой такой же неуклонный принцип, совершенно противоположный первому, как противоположны мужчина и женщина... Этот второй принцип — индивидуализм, гордая-центростремительная изоляция человеческой особи, личность, персонализм».

Чтобы продемонстрировать возможно нагляднее это торжество «персонализма», Уолт Уитман счёл необходимым прославить себя самого, Уолта Уитмана, в качестве свободной и счастливой человеческой особи, будто бы созданной демократическим строем.

Его «Песня о себе» начинается именно такими словами:

Я славлю себя, и воспеваю себя.

И всюду, на каждой странице, он выпячивает себя, свою личность, как некую величайшую силу, которая только существует во вселенной:

Страшное, яркое солнце, как быстро ты убило бы меня,  
Если б во мне самом не восходило такое же солнце.

Отсюда все его гордые возгласы:

Я божество и внутри, и снаружи...

Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы...

Ты для меня разметалась, земля, вся в ароматах  
зацветших яблонь.

Улыбнись, потому что пришёл твой любовник...

Всё это казалось бы чудовищной похвалой самовлюблённого эгоцентрика, если бы такого же восхищения собственной личностью он не требовал от каждого из нас.

Всё, что я называю своим, вы замените своим,  
Иначе незачем вам и слушать меня, —

говорит он в «Песне о себе», повторяя снова и снова, будто торжество его поэзии именно в том, что в ней каждый человек есть единственный, и, значит, личность не только не поправа ею, но впервые внесена до невиданных в истории высот.

К сожалению, здесь-то и выступает с особой наглядностью схематичность поэзии Уитмана, её надуманность, её «предумышленность», сочетающаяся в ней каким-то загадочным образом с подлинным стихийным вдохновением.

Ибо, сколько бы ни заявлял он в своих манифестах, стихах и статьях, будто человеческая личность для него прекрасна, как солнце, эта личность в его «Листьях травы» всё же остаётся без имени, без глаз, без лица, личность как единица статистики, как стандартный продукт, общеличность, которую невозможно ни ненавидеть, ни жалеть, ни любить.

Обаятельная гуманность нашей русской литературы заключается раньше всего в том жадном внимании к характерам, мыслям, поступкам, страданиям, радостям каждой, даже самой микроскопической, личности, будь то Макар Девушкин или Акакий Акакиевич. Но попади эти люди на страницы уитмановых «Листьев травы», они сразу потеряли бы все свои столь разнообразные качества, и Чичикова было бы невозможно отличить от Печорина, а Коробочку от Анны Карениной. Произошло бы то обезличение личности, которого Уитману не скрыть никакими вещаниями о «персонализме», присущем американскому демосу.

Но хотя здесь нет ни единой крупинки той взволнованной, жаркой любви к данному живому человеку, которая свойственна, например, этическому индивидуализму Некрасова, Достоевского, Глеба Успенского, Гаршина, Чехова, этот эгоцентрический индивидуализм Уитмана всё же не лишён положительных черт. Социальная ценность его несомненна. Внушая каждому, что тот так же прекрасен, велик и могуч, как и всякий другой человек, Уитман с большой поэтической

силой утверждает духовное достоинство человеческой личности, того Человека с большой буквы, которого некогда воспел у нас Горький. Лучшие страницы «Листьев травы» посвящены этим гимнам «кому бы то ни было»:

Кто бы ты ни был! Иди напролом и требуй!  
Эта пышность Востока и Запада — «безделица рядом с тобой,  
Эти равнины безмерные и эти реки безбрежные —  
безмерен, безбрежен и ты, как они,  
Эти неистовства, бури, стихии, иллюзии смерти, — ты тот,  
кто над ними владыка,  
Ты по праву владыка над Природой, над болью, над страстью,  
над стихией, над смертью.  
(«Тебе»)

Эта великая тема проходит через всё творчество Уитмана, и всякий раз, когда он коснется её, он становится вдохновенным поэтом.

## 8

В то десятилетие, когда Уитман создавал свою книгу, в Соединённых Штатах стал, наконец-то, медленно, но верно слагаться рабочий класс, который до этой поры был хаотичен, расплывчат и слаб.

После того как в 1850 г. в Массачузетсе, в текстильном городишке Фолл Ривер, была провалена стачка текстильщиков, рабочие печатного дела организовались в профессиональный союз, а за ними — стеклодувы и шапочники, а за ними, в 1855 г., организовались рабочие транспорта, в 1856 — рабочие судостроительных верфей, в 1857 — рудокопы, в 1858 — текстильщики, в 1859 — формовщики, кузнецы, механики железодельных и сталелитейных заводов, так что к концу десятилетия, к 1860 г., у пролетариата Америки было уже 26 профессиональных союзов<sup>1</sup>.

Можно сказать, что пролетариат, в подлинном смысле этого слова, выступил в Соединённых Штатах на сцену истории именно в те самые годы, когда Уитман слагал свои первые песни.

Рост промышленности именно тогда, в пятидесятых годах, проявил небывалые, истинно американские темпы, особенно в северных штатах, где даже сельское хозяйство механизировалось с невиданной до того стремительностью.

Оттого-то в поэзии Уитмана такое заметное место занимает машинно-индустриальная тема:

Муза! я приношу тебе наше здесь и наше сегодня.  
Пар, керосин и газ, экстренные поезда, великие пути сообщения,  
Триумфы нынешних дней: нежный кабель Атлантики  
И тихоокеанский экспресс, и Суэцкий канал, и Готардский  
туннель, и Гузекский туннель, и Бруклинский мост.  
Всю землю тебе приношу, как клубок, обмотанный рельсами..

<sup>1</sup> Ф. Зорге, Рабочие в США, Л. 1907, стр. 54—68.

Мало было в ту пору поэтов, которые дерзнули бы выступить с такими славословиями рельсам, мостам и каналам. Тогда самые термины промышленной техники казались антипоэтичными словами, и нужна была немалая смелость, чтобы ввести их в поэзию.

О, мы построим здание,  
Пышнее всех египетских гробниц,  
Твою мы построим церковь, о пресвятая индустрия!

Издеваясь над старозаветными вкусами, требовавшими от поэзии воспевания звёзд, женских прелестей, мотыльков и цветов, Уитман писал оды фабричным трубам, домнам, вагранкам, рабочим станкам, — и вот его воззвание к паровозу:

Ты, красавец с неистовой глоткой!  
О, промчись по моим стихам  
И наполни их буйной музыкой,  
Сумасшедшим, пронзительным хохотом,  
Трелями воплей твоих, что от гор и от скал эхами несутся  
к тебе!

Эта поэзия, проникнутая ощущением будущего, поэзия новой индустриально-технической эры, была, естественно, поэзией города. Урбанизация Америки совершалась тогда с молниеносной скоростью. В то десятилетие, когда Уитман создавал свою книгу, население Нью-Йорка удвоилось, а население Чикаго возросло на 500 процентов!

Этот сдвиг отразился, как в сейсмографе, в поэзии Уитмана. В то время как другие поэты всё ещё упивались закатами и лилейными персями, Уитман стал демонстративно воспевать доки, местные, больницы, мертвецкие, верфи, вокзалы, трамваи, шарканье миллионов подошв и таким образом, вместе с Максимумом Дюканом, явился основоположником урбанистической поэзии нашего времени, предтечей таких урбанистов, как Верхари, Брюсов, Маяковский.

Не нужно думать, что та счастливая эпоха, когда он создавал свою книгу, была совершенно безоблачна. С самого начала пятидесятых годов на демократию явно надвинулись тучи. Ожидание неизбежной грозы — характернейшая черта того времени.

«Мы живём среди тревог и страхов, мы ждём от каждого газетного листа катастроф! — восклицал Авраам Линкольн в тот самый год, когда Уитман заканчивал «Листья травы». — Пролита будет кровь, и брат поднимет руку на брата!»

Кровью действительно пахло тогда, и с каждым днём всё сильнее. Близилась гражданская война. Юг и Север были на ножах.

Отчаянный Джон Браун, революционер-террорист из Канзаса, в те самые годы, в годы «Листьев травы», во имя раскрепощения негров убил пятерых плантаторов, а через несколько лет, захватив городской арсенал, взял заложниками именитейших граждан и с оружием в руках

пошёл освободить чернокожих. Его ранили, схватили, повесили как бунтовщика и изменника, но все чувствовали, что — он центральный человек той эпохи, воплотивший в себе надвигавшиеся на неё катастрофы и страсти.

Чарльз Дана, редактор «Нью-Йоркской трибуны», где печатались статьи Карла Маркса, восклицал: «Пусть другие оказывают помощь тиранам, мы умрём за Справедливость и Свободу и не побоимся отдать своё оружие тем, кого зовут демагогами».

Именно в то время Генри Торо писал свою бунтарскую статью «О долге гражданина не повиноваться властям».

Этой грозовой атмосферой была насыщена книга Уолта Уитмана:

(Да, я воспеваю не только покорность,

Я также воспеваю и мятеж,

Ибо я верный поэт каждого бесстрашного бунтаря во всем мире,

И кто хочет идти за мною, забудь об уютах и буднях,

Каждый час ты рискуешь своей головой.)

Так как в книге Уитмана такие декларации встречаются достаточно часто, во многих странах (и прежде всего в России 1905—1917 гг.) он воспринимался читателями как революционный поэт. Для этого у читателей были, казалось бы, все основания: в «Листьях травы» есть горячие гимны итальянским, австрийским, французским повстанцам 1848—1849 гг. («Европа»), есть стихи, приветствующие европейских бунтарей («Европейскому революционеру, который потерпел поражение»), есть стихи, воспевающие революцию в Испании («Испания в 1873—1874 гг.») и т. д.

Между тем в этих стихотворениях сказалось обычное сочувствие всех, даже умеренных, граждан заокеанской республики к далёким и чужим революциям, совершающимся в другом полушарии. В отношении же современной Уитману американской действительности он дальше реформистских стремлений не шёл, хотя многое в этой действительности было ненавистно ему (о чём свидетельствуют его гневные тирады в «Демократических далях» и в замечательной поэме «Отвечайте!»), он считал все отрицательные факты американского быта преходящими, случайными, легко устранимыми и был чрезвычайно далёк от какого бы то ни было революционного действия в своей собственной жизненной практике.

Но всё же европейские передовые читатели нашли в книге Уитмана немало такого, что родственно-близко и дорого им. Его свободолюбие, его жизнерадостность, его гимны народным массам, его вера во всемогущество позитивных наук, его славословия технике, его призывы к братскому единению людей, — всё это привлекло к нему во Франции, в Норвегии, в Китае, в Голландии, в Индии горячие симпатии трудящихся, и они почувствовали в нём своего.

«Конечно, в нём было много такого, что неотделимо от буржуазной



щают благовоспитанных критиков. Наперекор галантностям будуарной поэзии он воспевал, например, в женщине не ланиты и очи, а

Рёбра, живот, позвоночник...

Матку, груди, соски...

Пульс, пищеварение, пот...

Кожу, веснушки и волосы...

Красоту поясницы и ляжек, и их нисхождение к коленям,

Прекрасную реализацию здоровья.

Он чувствовал себя освобождённым от всяких наваждений аскетизма. Он не был бы поэтом науки, если бы в природе человека признал хоть что-нибудь ничтожным и грязным. Он не был бы поэтом идеального равенства, если бы в отношении органов тела придерживался таблицы о рангах, разделив их на дворян и плебеев.

Вообще законы поэтики, по его убеждению, должны подчиниться законам природы. «О, если бы моя песня была проста, как рёв и мычание животных, быстра и ловка, как движения рыб, как капанье капель дождя!» Обладай он гениальностью Шекспира, он, по его утверждению, отказался бы от этого дара, если б море дало ему один переулеск волны, дохнуло в его стих одним дыханием и оставило там свой запах.

Всё книжное, условно-поэтическое казалось ему отвратительной ложью. Он уверял, что каждую свою строку создаёт на берегу океана, проверяя её воздухом и солнцем. «Все поэты из сна выбиваются, чтобы сделать свои книги ароматнее, вкуснее, пикантнее, но у природы, которая одна была мне образцом, такого стремления нет. Человек, имея дело с природой, всегда норовит приукрасить её. Скрещиванием и отбором он усиливает запахи и колеры цветов, сочность плодов и т. д. То же самое он делает в поэзии, добивается сильнейшей светотенн, ярчайшей краски, острейшего запаха, самого «ударного» эффекта. Поступая так, он изменяет природе».

И долго держалась легенда, будто его стихи так же необдуманно, внезапно и дико, как рычание лесного зверя. Он сам этой легенде потворствовал. «Тот не поймёт моей книги, кто захочет смотреть на неё как на литературное явление, с эстетическими и художественными задачами...» «Среди книг я лежу дураком, как немой, как нерождённый, как мёртвый».

Но мы видели, что это не так. Даже странно читать, сколько правил и догматов — именно литературных, эстетических — внушал себе этот «дикарь». В его безыскусственности было много искусства, и в его простоте была сложность. «Даже в отказе своём от художеств он оказался художником», — говорит о нём Оскар Уайльд. Но, конечно, Уитман хорошо сознавал, что для того, чтобы сделаться великим поэтом, нужно думать не только о «косметических прикрасах стиха», но о себе, о своей нравственной личности. Чтобы создать поэму, ты должен создать себя. «Пойми, что в твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе же самом, — твердил он, обращаясь

к себе. — Если ты злой или пошлый, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или не веришь в загробную жизнь, или неизменно смотришь на женщин, — это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой уловки, такого приёма, такого рецепта, чтобы скрыть от твоих писаний хоть какой-нибудь изъян твоего сердца».

Он внушал себе суровую заповедь:

«Вот что ты должен делать: люби землю, солнце, животных; презирай богатство, отдавай свой заработок и свою работу другим; ненавидь угнетателей; не думай о боге; не кланяйся никому и ничему, известному и неизвестному, — и самое тело твоё станет великой поэмой, и даже молчащие губы будут у тебя красноречивы».

Он не хочет создавать поэмы, — он хочет вдохнуть в нас свой дух, чтобы мы вместо него стали творцами поэм:

Побудь этот день, эту ночь со мною, —

И ты сам станешь источником всех на свете поэм.

Он жаждет заразить нас собою, не образы создать, а импульсы, ибо он не столько создатель поэм, сколько создатель поэтов.

Но чтобы другие могли заразиться тобою, умей и сам заразиться их жизнями. «У раненых я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда раненым», — здесь, по убеждению Уитмана, величайший эстетический принцип, какой только знает искусство: не описывать нужно вещи, а отождествлять себя с ними.

Когда ловят воришку, ловят и меня,  
Умирает холерный больной, я тоже умираю от холеры:  
Лицо моё стало, как пепел, у меня корчи и судороги,  
люди убегают от меня.

Нищие становятся мною,

Я конфузливо протягиваю шляпу, я сижу и прошу  
подавляя.

Доведи своё со-радование, со-страдание, со-чувствие до полного слияния с чужой личностью, превратись в того, о ком поёшь — и всё остальное приложится: ты найдёшь и образы и ритмы. Уитман верил, что высшее напряжение любви будет высшим триумфом искусства.

Отвергая общепринятую систему закоряченных поэтических ритмов, требуя, чтобы каждому биснию крови соответствовал свой размер, он тем самым революционизировал стихотворную ритмику. Его ритмы эластичнее, сложнее, подвижнее, богаче, чем у величайших поэтов предыдущей эпохи. В сущности, вся сила его стихосложения в ритмике. Я не имею возможности анализировать её более подробно и могу лишь бегло указать на несколько её достижений, например, на «Любовную ласку орлов», которая держится исключительно ею. Темпы отрывистых и быстрых движений сменяются здесь медлительными тем-

пами любовной истомы, и в самой последней строке даётся великолепный ритмический рисунок разъединения, распада, разрыва двуединой «кружащейся массы»:

Он своим,  
и она своим  
раздельным путём.

Об этой раздельности Уитман не только повествует в стихах — он изображает её с помощью ритма.

Такую же огромную роль играет ритм в том стихотворном отрывке, где Уитман передаёт мускульное напряжение кузнецов, медленно поднимающих тяжёлые молоты:

Вверх поднимаются молоты, вверх так медленно, вверх так уверенно!

И сразу же эта схема ломается, когда молоты падают вниз.

Уитмана не раз упрекали, что он весь во власти программ и теорий, фабрикует свои стихи по рецептам, что его писания рассудочны, идут из головы, а не из сердца, что он даже оптимистом сделался не по собственной воле, а, так сказать, по взятым на себя обязательствам певца демократии: решил, что певец демократии должен быть таким-то и таким-то, и вот выполняет задуманное.

В этих упреках есть доля правды, но весьма незначительная. Действительно, Уитман — теоретик поэзии, но чего бы стоили теории Уитмана, если бы он не был поэтом! Никогда не удалось бы ему придать своим стихам ту гипнотизирующую заразительность музыки, которой он особенно силён. Когда читаешь его стихи о Линкольне, кажется, что где-то в величавом соборе слышишь реквием, сыгранный на грандиозном органе. Поэма начинается рыданиями, и невозможно понять, каким изумительным способом Уитману удалось добиться того, чтобы его неуклюжие строки ритмически изображали рыдания. Эти рыдания не мрачные: чем дальше, тем яснее слышится в них радостная победа над болью, постепенное преобразование скорби в широкий вселенский восторг.

Столь же музыкальна и композиция этой поэмы, основанная на чередовании трёх лейтмотивов, которые, то появляясь, то исчезая опять, создают сложный и своеобразный музыкальный узор.

## 10

Нам остаётся досказать в двух словах биографию Уитмана.

В ней было, в сущности, лишь одно событие: гражданская война 1861—1865 гг. Через несколько месяцев после начала войны Уитман поселился в Вашингтоне, куда доставляли раненых, и ухаживал за ними три года, не боясь ни оспы, ни тифа, среди ежечасных смертей, добровольно сделался больничной сиделкой, и жутко читать в его письмах

об отрезанных руках и ногах, которые огромными кучами сваливались во дворе под деревом.

«Никогда я не забуду той ночи, — пишет один очевидец, — когда я сопровождал Уолта Уитмана при его обходе нашего лазарета. Лазарет был переполнен. Койки пришлось сдвинуть в три ряда. Когда приходил Уолт Уитман, на всех лицах появлялась улыбка, и, казалось, его присутствие озаряло то место, к которому он подходил.

От койки к койке еле слышным, дрожащим голосом зазывали его больные и раненые. Хватали его за руку, обнимали, встречали глазами. Того он ободрит словом, тому напишет под диктовку письмо, тому даст конфет и апельсин, тому — щепоть табаку, тому — почтовую марку. От иного умирающего выслушивал он поручения к невесте, матери, жене, иного ободрял прощальным поцелуем. В ночь его прихода долго в этих бараках горели огни, и больные беспрестанно кричали ему: «Уолт, Уолт, Уолт, приходи же непременно опять!»

Конечно, он работал бесплатно, он не принадлежал ни к какой организации по оказанию помощи раненым. Все деньги, которые ему удавалось собрать, он раздавал больным.

Сохранилась связка писем, которые Уитман в ту пору писал из Вашингтона своей матери.

«Мама! Весу во мне двести фунтов, а физиономия моя стала пунцовая. Шея, борода и лицо в самом невозможном состоянии. Не потому ли я и делаю кое-какое добро в лазарете, что я такой большой, волосатый, похожий на дикого буйвола? Здесь много солдат с первобытных окраин — с запада, с далёкого севера, вот они и привязались к человеку, который не имеет лакированного вида бритых столичных франтов».

В одном из госпиталей в 1864 г. с Уитманом случилось несчастье: перевязывая гангренозного больного, он неосторожно прикоснулся порезанным пальцем к ране, и вся его рука до плеча воспалилась. Правда, воспаление вскоре прошло, но через несколько лет этот случай пагубно отразился на здоровье поэта.

Война кончилась. Он остался в столице и поступил чиновником в министерство внутренних дел. Во главе министерства стоял некий Гарлан, бывший методистский священник. Когда Гарлан узнал, что в числе его новых служащих есть автор безнравственной книги, он велел уволить его в двадцать четыре часа (июнь 1865 г.).

Поэт ушёл обычной величавой походкой и скоро, при содействии друзей, отыскал себе новое, гораздо лучшее, место — клерка в министерстве финансов.

Грубое самодурство Гарлана не только не принесло книге Уитмана никакого вреда, но, напротив, сослужило ей великую службу. Друг поэта, ирландец О'Коннор, страстный борец за освобождение негров, выступил на защиту поруганной книги и напечатал целую брошюру о Уитмане — «Добрый седой поэт», где, с негодованием обличая мрако-

беса-министра, прославлял Уитмана как одного из величайших поэтов передовой демократии. Прозвище «доброе седого поэта» с той поры стало постоянным эпитетом Уитмана.

В 1873 г. его разбил паралич, у него отнялась левая половина тела; врачи объяснили это заболевание той несчастной случайностью, которая произошла с ним в вашингтонском госпитале во время войны.

Он переехал в штат Нью-Джерси, недалеко от штата Нью-Йорк, и поселился в городишке Кемдене, под Филадельфией. Английские друзья собрали для него небольшой капитал, вполне достаточный для безбедного существования, и в очень деликатной форме преподнесли ему эти деньги. Анна Гилкрист приехала из-за океана ухаживать за ним, и поселилась по соседству в Филадельфии. Его друг Джордж Стаффорд предоставил ему свою ферму в лесу как бесплатную летнюю дачу.

Хилмй старик, без надежд на будущее, страдая от мучительной болезни, он, наперекор всему, остался жизнерадостен и светел. Старость и болезнь не сокрушили его оптимизма. Его стихи, относящиеся к этой поре, остались такими же песнями счастья, как и созданные в ранние годы:

Здравствуй, неизреченная благодать предсмертных дней! —

приветствовал он свою недужную старость.

Впоследствии он неожиданно оправился, и в 1879 г., в апреле, в годовщину смерти президента Линкольна, прочитал о нём в Нью-Йорке, в одном из самых обширных театров, публичную лекцию с огромным успехом, а осенью уехал в Колорадо путешествовать по Скалистым горам, побывал на Ниагаре и в Канаде, но вскоре его здоровье ухудшилось, и последние годы жизни он провёл прикованный к инвалидному креслу.

Вокруг его кресла были в беспорядке разбросаны газетные вырезки, книги, корректуры, рукописи, журналы, брошюры, казавшиеся погостроннему хламом. Помимо прочих друзей, ежедневно посещал его юный писатель Горас Тробел, — для многочасовых бесед, которые тут же записывал. Впоследствии эти записи составили трёхтомную книгу.

В 1890 г. Уолт Уитман купил себе на свои сбережения могилу неподалеку от Кемдена и заказал себе памятник — гранитный, на высоком холме — начертал на нём своё имя и стал терпеливо ждать, когда этот монумент пригодится. Но смерть не приходила к нему. Умирал он так же медленно, как жил. Его три раза разбивал паралич, но никак не мог одолеть.

Когда же, наконец, он скончался (26 марта 1892 г.), большие толпы пришли провожать его гроб. Священников не было, а просто один из его друзей прочитал над могилой отрывки из разных «священных» книг: из Библии, Корана, Конфуция, но больше всего из книги его самого, Уолта Уитмана.

Корней Чуковский.

# ЛИСТЬЯ ТРАВЫ

## ПЕСНЯ РАДОСТЕЙ

О, создать самую весёлую песню,  
Полную музыки — полную женщин, детей и мужчин,  
Полную повседневных работ — полную деревьев и зёрен!

О, если бы ей крики животных! Быстрота и  
равновесие рыб!

О, если бы в ней капали капли дождя!

О, если бы в ней сияло солнце и двигались волны!

О, радость моей души, — она вольная — она мчится,  
как молния!

Нам мало всего шара земного или отдельной эпохи,  
У меня будут тысячи этих шаров и всё время.

О, радость машиниста! О, управлять паровозом!  
Слышать шипение пара, радостный крик  
паровоза и хохот бегущей машины!  
Врываться в далёкий простор, нестись без преград вперёд!

О, беззаботно блуждать по полям и нагорьям!  
Цветы и листья зауряднейшей сорной травы, мокрое,  
свежее молчание леса,  
Тонкий запах земли на заре, до полудня!

О, радости наездника или наездницы!  
Седло, галоп, прижимание тела к седлу, холодное  
журчание в волосах и в ушах.

О, радости пожарного!  
Я слышу тревогу в ночи,  
Я слышу набат и крики! Я бегу в стороне от толпы!  
Вид пламени счастливит меня до безумия.

О, радости борца-сидача, что, как башня, стоит  
на арене, в превосходном здравьи, спокойный,  
в сознании силы и жаждет схватиться с против-  
ником!

О, радость широкого и простого сочувствия, которое  
только человечесья душа может изливать из себя  
таким ровным неиссякающим током!

О, радости матери!

Оберегать, и терпеть, и великолёпно любить, и страдать,  
и прилежно растить живое!

О, радость роста, увеличения, накопления сил,  
Радость умиротворения и ласки, радость согласия и лада!

О, вернуться туда, где родился,  
И ещё раз услышать, как щебечут на родине птицы,  
И ещё раз пойти по родному жилью и сбегать в поле,  
побывать на гумне,  
И ещё раз прогуляться по саду, по его старым тропинкам.

О, расти в лагунах, заливах, бухтах или на берегу океана,  
И остаться там до конца моих дней, и жить, и работать там,  
Солёный и мокрый запах, берег, солёные травы в низкой  
воде отлива,

Труд рыбаков, труд ловца угрей и собирателя устриц;  
Я прихожу с лопатой и граблями для ракушек, со мною моя  
острога для угрей,  
Что? Уже отлив? Я иду по песчаной отмели и подхожу к  
собирателям устриц;

Я смеюсь и работаю с ними, как молодой озорник;  
А зимою я беру мою вершу, я беру мою острогу  
и шагаю по льду залива, и при мне мой  
топорик, чтобы прорубать дыры во льду.

Посмотрите на меня, как тепло я одет; я иду с  
удовольствием и к вечеру возвращаюсь

домой.

И со мною ватага товарищей, они молодцы,  
И подростки, и взрослые, им любо работать со мною  
и водиться со мною — больше, чем с другими  
людьми;

Днём они работают со мною, а ночью они спят подле меня.

А в жаркую пору, в лодке, поднимать корзины  
для ловли омаров, загружённые тяжелыми камнями  
(мне известны все поплавки),  
Как сладко майское утро, перед самым рассветом, когда я  
плыву к поплавкам  
И дёргаю бечеву вбок, и вынимаю корзины, и  
тёмнозелёные раки отчаянно угрожают клешнями,  
когда я беру их оттуда и сую в их клешни  
деревяжки,  
И объезжаю одно за другим все места, а потом гребу  
обратно, к берегу,  
И там кидаю их в кипящую воду, в котёл, и они кипят,  
покуда не станут багровыми.

А в другой раз ловить скумбрию.  
Сумасшедшая, жадная, так и хватает крючок  
у самой поверхности моря, и похоже, что  
ею покрыты целые мили воды;  
Или ловить губанов в Чизапике<sup>1</sup>, я один из загорелой  
команды,  
Или выслеживать лососей у Поманока<sup>2</sup>, я стою, привязанный  
к баркасу,  
Моя левая нога на шкафуте<sup>3</sup>, моя правая рука бросает  
кольца тончайшей лесы,  
И вокруг меня юркие ялики, они юлят, выплывают  
вперёд, их пятьдесят, они в компании  
со мной.

О, пробираться в лодке по рекам,  
Вниз по Сент-Лоренсу<sup>4</sup>, пароходы, великолепные виды,  
Парусные суда, Тысяча Островов<sup>5</sup>, бревенчатый плот и на  
нём плотовщики с очень длинными вёслами,  
Малые шалаши на плотках, и струя дыма над ними по вечерам,  
когда стряпают ужин.

я

(О, страшное, грозящее гибелью!  
Далёкое от скардной и набожной жизни!  
Неверное! В горячке безумия!  
Что со всех сорвалось якорей и понеслось на простор!)

<sup>1</sup> Губан — рыба. Чизапик — бухта в штате Мериленд на востоке США.

<sup>2</sup> Поманок — индейское название Долгого острова.

<sup>3</sup> Шкафут — верхний край корабельного борта.

<sup>4</sup> Сент-Лоренс — река св. Лаврентия.

<sup>5</sup> Группа небольших островов на реке св. Лаврентия.



Как я безмятежен, широк, величав после продолжительной  
жизни.

О, зрелая радость женщины! О, наконец-то я счастлива!  
Я многочтимая мать, мне уже девятый десяток,  
Как светлы мои мысли — как влекутся ко мне мои близкие!  
Какое притяжение таится во мне! Оно ещё сильнее, чем  
прежде, какое цветение больше цветения юности!  
Какая нисходит на меня красота, излучаемая мною на всех!

О, радости оратора!  
Выкатывать грома голоса из-за рёбер, из горла,  
Заставляя людей бесноваться, рыдать, ненавидеть  
и жаждать, как ты,  
Вести за собою Америку — укрощать её великим языком.

О, радость моей души, что поддерживает своё равновесие,  
опираясь на себя самоё,  
Получая своё лучшее Я через материальные вещи, любя их,  
наблюдая их свойства и впитывая их в себя,  
И всё же, моя душа, словно маятник, возвращается от них  
снова ко мне, от зрения, слуха, касания, мышления,  
артикуляции, сопоставления, памяти,  
Ибо подлинная жизнь моих чувств и плоти превосходит мои  
чувства и плоть,  
Ибо тело моё — не только материальное тело и глаза мои —  
не только материальные глаза,  
Ибо сегодня доказано мне, что в конце концов видят мир не  
мои материальные глаза,  
И не моё материальное тело в конце концов любит, гуляет,  
смеётся, кричит, обнимает, рождает.

О, радости фермера!  
Радости канадца, миссурийца, канзасца, айовитянина,  
орегонца, радости того, кто живёт  
в Огайо, Иллинойсе, Висконсине!  
Встать на рассвете дня и проворно бежать к работе,  
Пахать землю осенней порой для зимних посевов,  
Пахать землю весенней порой для маиса,  
Взрачивать фруктовые сады, делать деревьям прививку,  
собирать осенью яблоки.

О, плавать в бассейне или с берега в море на хорошем месте  
для купанья,  
О, плескаться в воде! О, войти в воду по пояс или бегать  
нагишом по побережью!

О, понять, как велико пространство!

Изобилие всего, чему нет никакой границы!

О, появиться на свет и быть заодно с небесами, с луною,  
с солнцем, с летящими тучами.

О, радость самоотвержения и мужества!

Ни перед кем не заискивать, никому ни в чём не уступать,  
никакому известному или неизвестному деспоту,

Ходить, не сгибая спины, гибкой и пружинной походкой.

Глядеть безмятежно и вдумчиво или сверкающим глазом.

Говорить благозвучным голосом, исходящим из широкой  
груди.

Смело противопоставить себя любому человеку на земле.

Знаешь ли ты превосходное счастье юности?

Счастье крепкой дружбы, весёлого слова, смеющихся лиц?

Счастье блаженного яркого дня, и широко-дыхательных игр?

Счастье приятной музыки, освещённых зал и танцоров?

Счастье обильной еды, разгульной пирушки и выпивки?

И всё же, о моя высшая душа,

Знаешь ли ты радости созерцательной мысли?

Радости свободного одинокого сердца, нежного, мрачного  
сердца?

Радости уединённых блужданий, с изнемогшей, но гордой  
душой, радости борьбы и страдания?

Радости при мысли о Смерти, о великих сферах Пространства  
и Времени?

Вещие радости лучшей и высшей любви, радости, приносимые  
дивной женой и вечным, совершенным товарищем,

Твои, о бессмертная, радости, достойные тебя, о душа!

О, покуда живёшь на земле, быть не рабом, а господином  
жизни!

Встретить жизнь, как могучий победитель,

Без раздражения, без жалоб, без сварливых придилок, без  
скуки!

Этим гордым законам воздуха, воды и земли доказать, что  
моя душа не унижена,

Что нет такой внешней силы, которая управляла бы мной.

Ибо, повторяю, не одни только радости жизни воспеваются  
мной,— но и радость смерти!

Прекрасное прикосновение Смерти, нежащее и цепенящее,

Я сам отдаю моё тело, ставшее гнусным навозом, чтобы его  
закопали, сожгли или истолкли в порошок,

Моё истинное тело, несомненно, оставлено мне для иных сфер,  
А моё опустелое тело уже ничто для меня, оно опять возвра-  
щается в землю, к вечным потребам земли.

О, бороться с могучими силами и в борьбе не уступать им  
ни шагу!

Один на один биться с ними до потери последних сил!  
Прямо смотреть в лицо и пыткам, и тюрьмам, и гневу толпы!  
Взойти на эшафот и спокойно шагать прямо на ружейные  
дула!

О, быть воистину богом!

О, умчаться под парусом в море!  
Покинуть эту косную, нудную землю,  
Эту тошную одинаковость улиц, переулков, домов,  
Покинуть тебя, о земля, закорузлая, твёрдая, и взойти на  
корабль,  
И мчаться, и мчаться, и мчаться под парусом вдаль!

О, сделать отныне свою жизнь поэмою новых радостей!  
Плясать, бить в ладоши, безумствовать, кричать, кувыржаться,  
нестись по течению вперёд!  
Быть матросом вселенной, чтобы мчаться во все гавани мира,  
Быть кораблём (погляди, я и солнцу, и ветру отдал мой  
паруса),  
Быстрым кораблём, нагружённым доверху богатыми словами  
и радостями.

## КОГДА Я УСЛЫХАЛ К КОНЦУ ДНЯ

Когда я услышал к концу дня, как имя моё в Капитолии  
встретили рукоплесканиями, та ночь, что пришла  
вослед, всё же не была счастливою ночью,  
И когда мне случалось пировать или планы мои удавались,  
всё же не был я счастлив,  
Но день, когда я встал на заре, освежённый, очень здоровый,  
и, напевая, вдохнул созревшую осень,  
И, глянув на запад, увидел луну, как она исчезала, бледнея  
при утреннем свете,  
И на берег вышел один и, раздевшись, пошёл купаться,  
смеясь от холодной воды, и увидел, что солнце  
восходит,

И вспомнил, что мой милый, мой друг, мой любимый теперь  
на пути ко мне, о, тогда я был счастлив,  
И воздух стал слаще, и пища сытнее, и красивый день  
чудесно прошёл,  
И с таким же весельем пришёл другой, а на третий под вечер  
пришёл мой любимый,  
И ночь наступила, и всё было тихо, и я слушал, как  
неторопливые волны беспрестанно катились к земле,  
Я слушал, как шуршали-шипели пески и вода, как будто  
шептали, меня поздравляя,  
Потому что, кого я любил больше всех, тот лежал рядом со  
мною, спал под одним одеялом со мною в эту  
прохладную ночь,  
И в тихих лунных осенних лучах его лицо было обращено  
ко мне,  
И рука его легко лежала у меня на груди, обнимая меня, —  
и в эту ночь я был счастлив.

### ЕВРОПЕЙСКОМУ РЕВОЛЮЦИОНЕРУ, КОТОРЫЙ ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ<sup>1</sup>

Всё же не падай духом, мой брат или моя сестра!  
Продолжай своё дело — Свободу нельзя оставлять без  
подпоры, что бы ни случилось;  
Тебе не должны быть помехой одна или две неудачи, или  
любое число неудач,  
Или косность, или неблагодарность народа, или измена твоих  
сотоварищей,  
Или оскаленные зубы властей, пушки, карательные законы,  
войска.

То, во что мы верим, притаилось и ждёт нас на всех  
континентах,  
Оно никого не зовёт, оно не даёт обещаний, оно пребывает в  
покое и в ясности, оно не знает уныния,  
Оно ждёт терпеливо, чтобы наступил его срок.

<sup>1</sup> Это стихотворение даётся в первоначальной редакции (1856), так как через несколько лет Уитман сгладил наиболее боевые места и заменил последние восемь строк тривиально-мистическими фразами. Во втором издании «Листьев травы» стихотворение было озаглавлено «Поэма Свободы для Азии, Африки, Европы, Америки, Австралии, Кубы и морских архипелагов». В третьем издании заглавие было такое: «Бунтарю или бунтарке, потерпевшим поражение».

(Да, я воспеваю не только покорность,  
Я также воспеваю и мятеж,  
Ибо я верный поэт каждого бесстрашного бунтаря во всём  
мире,  
И кто хочет идти за мною, забудь об уютах и буднях,  
Каждый час ты рискуешь своей головой.)

Битва в разгаре, то и дело трубят тревогу.—мы то наступаем,  
то отходим назад,  
Торжествуют враги или думают, что они торжествуют,  
Тюрьма, эшафот, кандалы, железный ошейник, свинцовые  
пули делают дело своё,  
И славные и безыменные герои уходят в иные миры,  
Великие трибуны и писатели изгнаны, они чахнут на далёких  
чужбинах,  
Их дело уснуло, сильнейшие глотки удушены своей  
собственной кровью,  
И юноши при встрече друг с другом опускают в землю глаза;  
И всё же Свобода здесь, она не ушла отсюда, и врагам  
досталось не всё.

Когда уходит Свобода, она уходит не первая, не вторая, не  
третья,  
Она ждёт, чтобы все ушли, чтобы ей уйти после всех.

Лишь тогда, когда забудутся герои и мученики всех  
народов земли,  
Когда ораторы в людных собраниях начнут клеветать на  
погибших,  
Когда мальчиков уже не станут крестить именами героев,  
но именами убийц и предателей,  
Когда законы об угнетении рабов будут сладки народу и  
охота за рабами узаконена,  
Когда вы или я, проходя за рубежом по земле и увидев  
невольников, возрадуемся в сердце своём,  
И когда вся жизнь и все души мужчин и женщин будут  
начисто уничтожены в какой-нибудь части земли, —  
Только тогда Свобода или идея Свободы исчезнет с этой  
части земли,  
И враг одолеет вполне.

Не унывай же, европейский мятежник!..

## ЕСЛИ КОГО Я ЛЮБЛЮ

Если кого я люблю, я бешусь порою от тревоги, что люблю  
напрасной любовью,  
Но теперь мне сдаётся, что нет напрасной любви, что плата  
здесь верная, та или иная.

(Я страстно любил одного человека, который меня не любил,  
Но вот оттого я написал эти песни.)

## О ТЫ, ЗА КЕМ, БЕССЛОВЕСНЫЙ

О ты, за кем, бессловесный, я часто ходил повсюду, чтобы  
побыть близ тебя,  
Когда я шёл с тобой рядом, или сидел невдали, или  
оставался с тобой в одной комнате,  
Ты и не думал тогда, какой тонкий огонь электрический  
играет во мне из-за тебя.

## МИР ПОД МОРСКОЙ ВОДОЙ

Мир под морской водой,  
Леса на дне моря, листья и ветви,  
Морской салат, обширные поросли мхов, диковинные семена  
и цветы, непроходимые чащи, прогалины, розовый  
дёрн,  
Различные краски: бледносерая, зелёная, пурпурная, белая,  
золотая; игра света, проходящего сквозь воду,  
Бессловесные пловцы среди скал, кораллов, клейковины,  
травы, камышей, — и пища для этих пловцов,  
Ленивые существа, что пасутся подвешенные вниз головой  
или медленно ползут по воде возле самого дна,  
Кашалот на поверхности моря, выдувающий воздух и воду,  
играющий своими плавниками,  
Свинцовоглазая акула, морж, черепаха, мохнатый морской  
леопард и тропический скат,  
Какие там страсти, какие сражения, схватки, погони, какие  
зрелища в этих океанских глубинах, что  
воздухом дышат густым,  
Сразу меняется всё, когда оттуда проникнешь сюда, к этому  
разреженному воздуху, которым дышат подобные нам  
существа, живущие здесь, в нашей сфере,  
И сразу меняется всё, когда отсюда проникаешь туда, в  
иные сферы и к иным существам.

## НОЧЬЮ НА МОРСКОМ БЕРЕГУ

Ночью на морском берегу  
Стоит девочка рядом с отцом  
И глядит на восток, в осеннее небо.

Там наверху, в темноте,  
Беспощадные хищные тучи, похоронные тучи расстилаются  
чёрными массами.

Злые и быстрые, они опускаются к нижнему краю небес.  
К той ясной и прозрачной полоске эфира, что осталась ещё  
на востоке,

Туда, где большая, спокойная встаёт владыка-звезда  
Юпитер,

И тут же, чуть повыше, поблизости,  
Плывут нежные сёстры Плеяды.

Ребёнок, ухватившись за руку отца  
И глядя с берега на эти похоронные тучи, которые победно  
спускаются ниже, чтобы проглотить всё,  
Беззвучно плачет.

Не плачь, дитя,  
Не плачь, моя милая,  
Дай я поцелуями уберу твои слёзы,  
Беспощадные тучи — недолго им быть победителями,  
Недолго им владеть небом, это только кажется, что звёзды  
бывают проглочены ими,  
Юпитер появится снова, уж будь покойна, взгляни на него  
будущей ночью, и Плеяды появятся снова.  
Они бессмертны, серебряно-золотые звёзды, они засверкают  
опять,  
Большие звёзды и малые засверкают опять, всё это им  
нипочём,  
Громадные бессмертные солнца и задумчивые долговечные  
луны — они засверкают опять.

И, дорогое дитя, плачешь ли ты об одном лишь Юпитере?  
Ты тоскуешь лишь о погребении звёзд?

Есть нечто  
(Утешая тебя ласкою губ, я говорю тебе шопотом,  
Я даю тебе первый намёк, неясное указание, загадку),  
Есть нечто, что даже бессмертнее звёзд  
(Много прошло погребений, много дней и ночей),

Нечто, что в мире пребудет даже дольше, чем светоносный  
Юпитер,  
Дольше, чем солнце или какой-нибудь кружащийся спутник,  
Или сверкающие сёстры Плеяды.

### ЕСЛИ БЫ МНЕ БЫЛО ДАНО

Если бы мне было дано сходствовать с величайшими бардами,  
И, подобно им, рисовать красивых, надменных людей, и по  
воле моей состязаться  
С Гомером, поэтом сражений и воинов, Гектора, Ахиллеса,  
Аякса,  
Или создавать, как Шекспир, Гамлета, опутанного горем,  
Лира, Отелло, или прекраснейших леди, каких  
создаёт Теннисон,  
Щеголяя и умом, и стихом, и отборным сюжетом, и рифмами  
лучшего сорта, этой усладой певцов, —  
Всё это, о море, всё, всё я с охотою отдал бы,  
Если бы только один переплеск одной твоей волны ты дало  
мне,  
И одним твоим дыханьем дохнуло в мой стих,  
И оставило в нём этот запах.

### ГОДЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Годы современности! годы несделанного!  
Ваш горизонт встаёт, я вижу, что он расступается для более  
величественных драм,  
Я вижу, что к ним готовятся не только Америка, не только  
народ Свободы, но и другие народы,  
Я вижу, как с ужасным грохотом выходят на сцену новые  
лица, как старые сходят со сцены, я вижу новые  
союзы, солидарность племён,  
Я вижу, как с неудержимою мощью вступает эта рать на  
мировые подмости,  
(А старые силы, старые войны, сыграли ли они свои роли?  
акты пьесы, подходящие для них, кончены ли они  
навсегда?)  
Я вижу Свободу во всеоружии, победоносную, гордую, по  
одну руку у неё Закон, по другую — Мир,  
Великолепное трио, выступающее против духа касты;

К каким историческим развязкам приближаемся мы с такой  
быстротой?  
Я вижу быстрые миллионы людей, марширующих взад и  
вперёд,  
Я вижу, как уничтожены все рубежи, проведённые  
старинною знатью,  
Я вижу, как снесены все границы, установленные в Европе  
царями,  
Я вижу день, когда сам Народ возведёт свои рубежи на  
земле (все другие долой);  
Никогда ещё не задавалось таких пронзительных вопросов,  
как ныне,  
Никогда ещё не был простой человек и дух его более  
богоподобен,  
О, как он торопит, торопит, толкает массы вперёд, не давая  
ни минуты покоя.

Его дерзкая нога и на суше и на море, везде, он колонизирует  
Тихий океан и архипелаги,  
Своим пароходом, телеграфом, газетой, всевозможными  
машинами войны,  
Своими фабриками, всюду разбросанными, он связывает  
воедино все страны, всю географию мира;  
Что это за шопот, о страны, бежит перед вами, проносится  
под глубио морей?  
Или все народы ведут между собою беседу? Не создаётся ли  
у земного шара единое сердце?  
Или всё человечество стало сплочённою массой? Ибо, глядите,  
тираны трепещут, короны, как призраки, тают,  
Земля упрямо идёт к новой эре, может быть, ко всеобщей  
священной войне,  
Никто не знает, что завтра случится, такими знаменьями  
наполняются ночи и дни;  
Вещие, пророческие годы! Всё пространство впереди предо  
мною полно привидений, я тщетно хочу пронизать его,  
Дела нерождённые, события, которые скоро случатся, бросают  
вокруг меня отсветы,  
Этот натиск и пыл, этот странный экстаз лихорадочных снов!  
Сновиденья ваши, о годы, как они пронизают меня (сплю я  
или не сплю, я не знаю),  
Сыграли свои роли Америка и Европа, они тают и отходят  
во мрак у меня за спиной,  
Небывало гигантское будущее идёт и идёт на меня.

## ЩЕДРЫМ ДАТЕЛЯМ

Всё, что даёте мне, с радостью я принимаю.

Немного провизии, лачугу и сад, немного денег — на память  
о встрече с моими стихами,

Ночлег и еду для прохожего, когда я скитаюсь по Штатам,—  
зачем же я стану стыдливо скрывать, что я  
принимаю дары?

Разве сам я из тех, кто ничего не дарит ни мужчине, ни  
женщине?

Нет, и мужчинам и женщинам я даю доступ ко всем  
богатствам вселенной.

## МНЕ ПРИСНИЛСЯ ГОРОД

Мне приснился город, который нельзя победить, хотя бы  
напали на него все страны земли,

И мне снилось, что это был город Друзей, какого ещё  
никогда не бывало,

И что выше всего в этом городе крепкая ценилась любовь,  
а все прочие его качества происходили отсюда,

И что эта любовь каждый час сказывалась в каждом  
поступке жителей этого города,

Во всех их взорах и в их словах.

## ПОЭМА ИЗУМЛЕНИЯ ПРИ ВИДЕ ВОСКРЕСШЕЙ ПШЕНИЦЫ

### 1

Я думал, что здесь я всего безопаснее, и вдруг что-то  
ошеломило меня,

И я бегу из тихого леса, который я любил до сих пор,  
Теперь я не стану бродить по лугам,

Я не пойду, не разденусь, чтобы встретиться с моим  
любовником морем,

И не прижмусь моим мясом к земле, чтобы её мясо обновило  
меня.

О, как это может случиться, что землю не тошнит?

Как можешь ты жить на земле, ты, весенняя зелень?



Что всё чисто всегда и вовеки,  
Что прохладное питьё из колодца так прекрасно на вкус,  
Что ягоды черники так сочны и пахнут так хорошо,  
Что ни яблоки, ни апельсины, ни виноградные кисти, ни  
дыни, ни сливы, ни персики не отравляют меня,  
Что, когда я лежу на траве, она не заражает меня,  
Хотя, может быть, каждая былинка травы встаёт из того,  
что было когда-то заразой.

Теперь не страшна мне Земля, она так терпелива и  
спокойна,  
Она создаёт такие приятные вещи из такого гноя,  
Чистая и совсем безобидная, вращается она вокруг оси, вся  
набитая трупами тяжело болевших,  
И такие прелестные ветры создаёт она из отвратительной  
вони,  
И с таким простодушным видом каждый год обновляет она  
свои щедрые, пышные всходы,  
И даёт всем людям такие дивные вещи, а под конец получает  
от них такие отбросы в обмен.

## СЛЁЗЫ

Слёзы! слёзы! слёзы!  
В ночи, в одиночестве, слёзы,  
На берег падают капля за каплей, и их поглощает песок,  
Слёзы, ни одна не сияет звезда, всюду тьма и безлюдье,  
Мокрые слёзы из глаз, укутанных тёмной тканью;  
О, кто этот призрак? эта тень в темноте, вся в слезах?  
Что это за глыба бесформенная сгорбилась там на песке?  
Слёзы, что струятся ручьями, слёзы всхлипов и мук,  
заглушаемых дикими воплями;  
О, буря, что зародилась и выросла и быстро помчалась  
бегом по отлогому берегу моря!  
О, дикая и мрачная буря ночная — о, рыгающий и бешеный  
шторм!  
О тень, ты при свете дня такая благопристойная, чинная,  
с размеренным шагом и спокойным лицом,  
Но в ночи, когда ты ускользаешь и никто не глядит на  
тебя, — о, тогда вырывается из берегов океан  
Слез! слез! слез!

## ЧИТАЯ КНИГУ

Читая книгу, биографию прославленную,  
И это (говорил я) зовётся у автора человеческой жизнью?  
Так, когда я умру, кто-нибудь мою опишет жизнь?  
(Будто кто по-настоящему знает что-нибудь о жизни моей,  
Нет, зачастую я думаю, я и сам ничего не знаю о своей  
подлинной жизни,  
Несколько слабых намёков, сбивчивых, разрозненных, еле  
заметных штрихов,  
Которые я пытаюсь найти для себя самого, чтобы вычертить  
здесь.)

## ОТВЕЧАЙТЕ МНЕ! ОТВЕЧАЙТЕ!

Отвечайте мне! Отвечайте!  
Подите разбудите уснувших! чтобы никто не увильнул от  
меня!  
Долго ли нам жить лицемерием и подлостью?  
Довольно! распределим наши роли по-новому!  
Пусть то, что впереди, уйдёт назад! а то, что позади, пусть  
выходит вперёд и говорит во весь голос!  
Пусть убийцы, нечистоплотные, ханжи, идиоты предлагают  
новые планы!  
А старые забраковать и отменить!  
Вывернуть наизнанку все мысли и всякое лицо человеческое!  
Пусть все идеи станут явно преступными, а также все  
воплощения идей!  
Пусть никто никому ничего не сулит, кроме чёрной и  
постылой работы!  
Пусть никто не говорит человеку, куда направлена вся его  
жизнь! (Скажи, разве знаешь ты, куда направлена  
жизнь твоя?)  
Пусть зубоскалы высмеивают и Тело и Душу, мужскую и  
женскую.  
Пусть любовь, что таится в каждом, затаится совсем,  
навсегда, пусть она умрёт или уйдёт неприметно,  
Пусть люди простирают вперёд бесцельные, тоскующие руки!  
пусть разорвутся у них языки! пусть глаза их  
утратят надежду!  
Пусть никто не сойдёт в их сердца со свежим сладострастием  
любви!  
(О страны! о дни! вы задушены всеобщей нечестностью,

Вы задавлены, словно высокой горой, грабительством,  
ничтожеством, бесстыдством;  
И, подобно волнам океана, заливают вас безмерная наглость,  
о мои дни, мои страны!  
Ибо даже молнии и лютейшие громы войны не очистили  
нашего воздуха.)

Пусть идеей Америки будет попрежнему лукавство,  
неравенство, каста! (Скажи, каких ещё тебе надо идей?)  
Пусть те, кто не верят ни в рождение, ни в смерть, всё ещё  
ведут за собой остальных! (Скажи, почему бы не  
вести им тебя?)

Пусть дни будут чернее, чем ночи!  
Пусть мир никогда не достанется тому или той, для кого  
он был сделан!

Пусть попрежнему сердце юноши ускользнёт от сердца  
старика и сердце старика от сердца юноши!  
Пусть исчезнут солнце и луна! пусть зрители аплодируют  
лишь декорациям! пусть под звёздами будет одна  
лишь апатия!

Пусть всякий, кто может тиранить другого, тиранствует в  
своё удовольствие!

Пусть поддерживают только неверных!  
Пусть подлость, измена, предательство, злоба, насмешка,  
жадность, непристойность, бездарность и похоть  
будут превыше всего! пусть преклонятся пред  
ними писатели, судьи, религии, философии,  
правительства!

Пусть сделаются господами рабы! а господа — рабами!  
Пусть борцы за новые порядки сойдут со своих помостов, на  
которых они вечно дерут свою глетку! пусть на  
эти помосты взойдут идиоты или сумасшедшие!

Пусть американец, европеец, австралиец, азиат, африканец  
вооружаются друг против друга, как против  
кровожадных врагов! пусть даже спят с оружием!  
пусть никто не верит в доброту!

Пусть господствует только модная мудрость, а ту, что не в  
моде, прогнать с земли и осыпать насмешками!

Пусть облако, плывущее по небу, пусть морская волна, пусть  
лук на огородной гряде, пусть мята, помидоры и  
шпинат показываются только на выставках, и то  
за высокую плату!

Пусть всякий, кто живёт в этих Штатах, уступает всегда и  
во всём небольшому числу сволочей! пусть эти  
немногие сволочи хватают всё, что им вздумается!

пусть остальные сидят в дураках, зубоскалят,  
дохнут с голоду и выполняют приказы,

Пусть детородные органы будут даны лишь теням! а  
сущности будут лишены этих органов!

Пусть каждый город будет богат и обширен, но ни в одном  
не останется ни поэта, ни спасителя, ни мудреца,  
ни влюблённого!

Пускай проститутки, пускай проституты будут почтенны и  
чинны! пусть они пляшут спокойно, покуда всё  
основано на видимости! (О, видимость, видимость,  
видимость!)

Пусть гнуснейшие мужчины рождают детей от гнуснейших  
женщин!

Пусть священник всё ещё играет в бессмертие!

Пусть у нас ничего не останется, кроме праха учителей,  
моралистов, юристов, художников, учёных и  
благовоспитанных людей!

Пусть тот, у кого нет моих стихов, сейчас же будет убит!

Пусть корова, пусть лошадь, верблюд, пчела, пусть  
рыба-бычок, пусть ракушка, омар и угорь, пусть  
хрюкающая рыба-свинья будут совершенно  
приравнены к мужчинам и женщинам!

Пусть церкви приспособляют к себе змеёнышей, гадов, червей  
и умерших от самой скверной болезни!

Пусть браки происходят среди дураков и только среди  
дураков!

Пусть мужчины в своём кругу говорят и думают похабно  
о женщинах! и женщины в своём кругу говорят и  
думают похабно о мужчинах!

Пусть все, без одного исключения, выставляют свою наготу  
перед публикой, раз в месяц, под страхом казни!

Пусть на земле существуют лишь любовные песенки,  
элегантные штучки, второсортные копии,

Пусть только и будут на свете, что деньги, гешефты, импорты,  
экспорты, обычаи, авторитеты, прецеденты,

И бледные щёки, и несварение желудка, и безверье, и грязь,  
и невежество,

Пусть судьи и преступники поменяются своими местами!  
пусть в тюрьмы посадят тюремщиков, а ключи  
пусть возьмут заключённые!

(Скажи, что мешает такой перемене?)

Пусть безумие всё ещё держит под опекою ум!

Пусть книги заменяют собою деревья, животных, ручьи,  
облака!

Пусть аляповатые портреты героев заменяют собой героев!

Пусть мужчина не вдохновляется мужеством!

Пусть он идёт по стопам евнухов, чахоточных, светски  
любезных!

Пусть белые снова начинают топтать чернокожих ногами!

Пусть люди глядят в зеркала, изучая отражения вещей, а  
сами вещи остаются неизученными!

Пусть ищет мужчина наслаждений повсюду, только не в себе  
самом!

Пусть женщина ищет счастья повсюду, только не в себе  
самой!

(Был ли хоть единственный час в твоей жизни, когда ты был  
истинно счастлив?)

Пусть краткие годы жизни не сотворят ничего для  
безграничных годов смерти! (Что же, по-твоему,  
сотворит в таком случае смерть?)

## ЕВРОПА

72-й и 73-й годы Этих Штатов<sup>1</sup>

Вдруг из ветхой и сонной норы, из берлоги рабов,  
Она молнией прынула, и сама на себя удивляется,  
Ногами она топчет золу и лохмотья, а руками сжимает  
глотки королей.

О, надежда и вера!

О, страдальческая смерть патриотов-изгнанников!

О, сколько несчастных сердец!

Вернитесь сегодня на родину и начните новую жизнь!

А вы, получавшие деньги за то, что чернили Народ, — вы,  
подлые лгуны, берегитесь!

За все ваши похоти, убийства и судороги,

За низкий придворный грабёж, за выжимание последних  
грошей у доверчивых тружеников,

За то, что лгали, присягая, королевские уста и, нарушая  
обещанья, хохотали,

---

<sup>1</sup> Дата («72-й и 73-й годы Этих Штатов») означает 1848—1849 гг., когда в Италии, Австрии, Франции и Германии произошли революции, которые вскоре потерпели крушение.

Народ, получивший власть, не обижал никого и не мстил  
никому, и знатных голов не рубил;  
Народу была отвратительна свирепость царей.

Но эта нежная милость взрастила горькую тибель, и  
запуганные короли идут назад,  
Идут величаво, и у каждого пышная свита: палач, сборщик  
податей, поп,  
Тюремщик, законник, придворный, солдат и шпион.

Но сзади всех, смотри, какой-то призрак,  
Идёт и крадется, неясный, словно ночь, весь с головою  
укутанный в бесконечную ткань с ярко-красными  
складками.

Не видно ни глаз, ни лица,  
Но из этих одежд, из этих алых одежд, протянулась рука,  
Её единственный изогнутый палец высоко над головою  
указует куда-то,  
Он высунулся, как головка змеи.

А в свежих могилах лежат окровавленные трупы юношей,  
И верёвка виселицы сильно натянута, и носятся пули князей,  
и власть имущие твари смеются,  
Но всё это приносит плоды, и плоды эти добрые.  
Эти трупы юношей,

Эти мученики, висящие на перекладинах виселиц, эти сердца,  
пронзённые серым свинцом,  
Они холодны и неподвижны, но они где-то живут в другом  
месте, и их живучесть невозможно убить.

Они живут, о короли, в других, таких же юных,  
Они в уцелевших собратях живут, готовых снова восстать  
против вас,  
Они были очищены смертью, умудрены, возвеличены ею.

Над каждым, кто убит за свободу, из каждой могилы  
вырастает семя свободы, а из этого семени новое,  
Далеко разнесут его ветры для новых посевов, его вскормят  
дожди и снега.

Кого бы ни убили тираны, его душа не улетает никуда,  
Но невидимо парит над землею, шепчет, предупреждает,  
советует.

Свобода! пусть другие не верят в тебя, но я верю в тебя  
до конца!

Что? этот дом заколочен? хозяин куда-то исчез?  
Ничего, приготовьтесь для встречи, ждите его неустанно,  
Он скоро вернётся, вот уже идут его вестники.

### МЫ — МАЛЬЧИШКИ

Мы — мальчишки, мы вдвоём  
Неразлучные идём,  
То на гору, то с горы, то на север, то на юг,  
Мы локтями пробиваемся, мы сжимаем кулаки,  
Мы радуемся нашей силе, и оружие при нас,  
Где придётся, мы напьёмся и полюбим, и поспим,  
А законов мы не знаем, каждый сам себе закон,  
Мы воруем, мы дерёмся, мы под парусом гуляем, дышим  
воздухом, пьём воду и танцуем на побережьи,  
И дрожат пред нами скряги, и рабы, и попы.

### ОДНОГО Я ПОЮ

Одного я пою, всякую простую отдельную личность,  
И всё же Демократическое слово твержу, слово En Masse.

Физиологию с головы и до пят я пою,  
Не только лицо человеческое и не только рассудок достойны  
Музы, но всё Тело ещё более достойно её,  
Женское наравне с Мужским я пою.

Жизнь, безмерную в страсти, в биении, в силе,  
Радостную, созданную чудесным законом для самых  
свободных деяний,  
Человека Новых Вреён я пою.

## НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВАШИХ ДВЕРЕЙ

Не закрывайте ваших дверей предо мною, гордые библиотеки,  
Ибо я приношу вам то, чего никогда не бывало на ваших  
тесно уставленных полках, то, что вам нужнее всего.

Моя книга выросла из войны,  
Слова моей книги — ничто, её замысел — всё,  
Одинокая книга, с другими не связанная, её не постигнешь  
рассудком,  
Но то сокровенное, что не сказано в ней, прорвётся восторгом  
на каждой странице.

## ТЕБЕ

Первый встречный, если ты, проходя, захочешь заговорить  
со мною, почему бы тебе не заговорить со мною?  
И почему бы мне не начать разговора с тобой?

## ПИОНЕРЫ! О, ПИОНЕРЫ!

Дети мои загорелые,  
Стройно, шагом, друг за другом, приготовьте ваши ружья,  
С вами ли ваши пистолеты и острые топоры?  
Пионеры! о, пионеры!

Дольше мешкать нам нельзя,  
Нам идти в поход, мои любимые, туда, где бой всего опасней,  
Мы, молодые, мускулистые, и весь мир без нас погибнет,  
Пионеры! о, пионеры!

Ты, западная молодёжь,  
Ты неустанная, горячая, полная гордости и дружбы.  
Ясно вижу я тебя, ты идёшь с передовыми,  
Пионеры! о, пионеры!

Что же старые народы?  
Утомились, ослабели, и их урок пришёл к концу, там, за  
дальними морями?  
Мы их ношу поднимаем, их работу и их урок,  
Пионеры! о, пионеры!

Старое осталось сзади,  
Новый, краше и сильнее, свежий мир, могучий мир,  
Мы в этот мир ворвёмся с боем, в мир похода и труда!  
Пионеры! о, пионеры!

Мы бросаемся отрядами  
По перевалам и над кручами, по дорогам неизведанным,  
Напролом, в атаку, грудью, завоевать и сокрушить.  
Пионеры! о, пионеры!

Мы валим древние деревья,  
Мы запруживаем реки, мы шахтами пронзаем землю,  
Прерии мы измеряем, мы распахиваем ноздри,  
Пионеры! о, пионеры!

Мы родились в Колорадо,  
Мы с гигантских горных пиков, мы с сьерр, с плато высоких,  
Мы из рудников, из рытвин, мы с лесных звериных троп,  
Пионеры! о, пионеры!

Из Небраски, из Арканзаса,  
Мы из штатов срединных, мы из Миссури, мы с примесью  
континентальной крови,  
Мы с товарищами за руку, мы северяне, мы южане,  
Пионеры! о, пионеры!

Всё смести, снести с пути!  
О любимые, о милые! Грудь от нежности болит!  
Я и радуюсь и плачу, от любви я обезумел,  
Пионеры! о, пионеры!

С нами знамя, наше знамя,  
Поднимите наше знамя, многозвёздную владычицу, все  
склонитесь перед нею,  
Боевая наша мать, грозная, во всеоружии, её ничто не  
сокрушит,  
Пионеры! о, пионеры!

Дети мои, оглянитесь.  
Ради этих миллионов, уходящих в даль столетий, напирających  
на нас,  
Нам невозможно отступить или на миг остановиться,  
Пионеры! о, пионеры!

Дальше сжатыми рядами!

Убыль мы всегда пополним, мёртвых заместят живые,  
Через бой, через разгром, но вперёд, без остановки,  
Пионеры! о, пионеры!

Все живые пульсы мира

Вальты в наши, бьются с нашими, с западными, заодно,  
В одиночку или вместе, направляясь неустанно в первые ряды  
для нас,

Пионеры! о, пионеры!

Многоцветной жизни зрелища,

Все видения, все формы, все рабочие в работе,  
Все моряки и сухопутные, все рабы и господа,  
Пионеры! о, пионеры!

Все несчастные влюблённые,

Все заключённые в темницах, все неправые и правые,  
Все весёлые, все скорбные, все живые, умирающие,  
Пионеры! о, пионеры!

Я, моя душа и тело,

Мы, удивительное трио, вместе бродим по дороге,  
Средь теней идём по берегу, и вокруг теснятся призраки,  
Пионеры! о, пионеры!

Шар земной летит, кружится,

И кругом планеты-сёстры, гроздь солнц и планет,  
Все сверкающие дни, все таинственные ночи, переполненные  
снами,

Пионеры! о, пионеры!

Это наше и для нас,

Расчищаем мы дорогу для зародышей во чреве,  
Те, что ещё не родились, ждут, чтобы идти за нами,  
Пионеры! о, пионеры!

И вы, западные женщины!

Старые и молодые! Наши матери и жёны!  
Вы идёте вместе с нами нераздельными рядами,  
Пионеры! о, пионеры!

Вы, будущие менестрели,

Затаившиеся в прериях, скоро вы примкнёте к нам, нам  
спойёте ваши песни.

(А певцы былого века лягте в гроб и отдохните, вы свою работу сделали.)

Пионеры! о, пионеры!

Не сладкие удовольствия,  
Не подушки и не туфли, не учёность, не уют,  
Не постылое богатство, не нужны нам эти дряблости,  
Пионеры! о, пионеры!

Что? обжираются обжоры?  
И спят брюхастые сонливцы? и двери их наглухо закрыты?  
Всё же скудной будет наша пища, и спать мы будем на  
земле,

Пионеры! о, пионеры!

Что? уже спустилась ночь?  
А дорога всё труднее? и мы устали, приуныли и засыпем  
на ходу?

Ладно, прилягте, где идёте, и отдохните до трубы,  
Пионеры! о, пионеры!

Вот она уже трубит!  
Там, далёко, на заре — слышите, какая звонкая!  
Ну, скорее по местам — снова в первые ряды,  
Пионеры! о, пионеры!

## В МЫСЛЯХ МОИХ ПРОХОДЯ

(После чтения Гегеля)

В мыслях моих проходя по Вселенной, я видел, как мало,  
что зовётся Добром, упорно спешит к бессмертию,  
А большее, что зовётся Злом, спешит раствориться,  
исчезнуть и сделаться мёртвым.

## ДЛЯ ТЕБЯ, ДЕМОКРАТИЯ

Вот я сделаю всю сушу нераздельной,  
Я создам самый великолепный народ из всех, озаряемых  
солнцем,  
Я создам дивные магнитные страны —  
Любовью товарищей,  
Вечной, на всю жизнь, любовью товарищей.

Я густо усажу, как деревьями, союзами друзей и товарищей  
все реки Америки, все побережья её великих  
озёр и все её прерии,  
Я сделаю, чтобы города было невозможно разнять, так  
крепко они обнимут друг друга,  
Сплочённые любовью товарищей,  
Мужскою любовью товарищей.

Это тебе от меня, Демократия, чтобы служить тебе, моя  
жена!  
Тебе, тебе я пою эти песни.

### КОГДА Я, КАК АДАМ

Когда я, как Адам, ранним утром,  
Освежённый сном, выхожу из-под деревьев в саду,  
Взгляни на меня, проходящего, услышь мой голос, приблизься  
ко мне,  
Тронь меня, тронь тело моё ладонью руки, когда я прохожу,  
Не бойся тела моего.

### В ТОСКЕ И В РАЗДУМЬИ

В тоске и в раздумьи сижу одинокий,  
И в эту минуту мне чудится, что в других странах другие  
есть люди тоже в тоске и в раздумьи,  
Мне чудится, сто́ит мне всмотреться, и я увижу их  
в Германии, в Италии, в Испании, во Франции.

Или далеко-далеко, в Китае, в России, в Японии, они  
говорят на других языках.  
Но мне чудится, что, если б я мог познакомиться с ними,  
я стал бы к ним так же привязан,  
Как я бываю привязан к людям моей страны,  
О, я знаю, что мы были бы братьями, были бы друзьями,  
что с ними я был бы счастлив.



## СКВО<sup>1</sup>

### Отрывок из поэмы «Спящие»

Вот что рассказала мне мать, сидя как-то со мной за обедом,  
О той поре, когда она была подростком и жила в старом  
родительском доме.

К старому дому в одно раннее утро пришла краснокожая скво,  
На спине у неё была вязанка того камыша, из которого  
плетутся для стульев сиденья,  
Её волосы, обильные, прямые, блестящие, жёсткие, чёрные,  
оказывали её лицо, наполовину скрывая его,  
Её поступь была эластичной и лёгкой, а голос звучал  
изящно.

Моя мать с удивлением и радостью глядела на эту  
незнакомую женщину,  
Глядела на прелестную свежесть лица, на полные, гибкие  
руки и ноги,  
Чем дальше глядела моя мать на неё, тем сильнее влюблялась  
в неё,  
Никогда до той поры не видала она такой изумительной  
красоты и чистоты,  
Она усадила её на скамью к очагу, она стала готовить ей  
пищу,  
Работы она ей не дала, но она дала ей память и любовь,  
Скво пробыла у неё весь полдень и ушла от неё незадолго  
до вечера.  
О, моей матери так не хотелось, чтобы она уходила,  
Всю неделю она думала о ней, она ждала её долгие месяцы,  
Много лет она вспоминала её и в летнюю и в зимнюю пору,  
Но краснокожая скво не вернулась, и больше её в тех местах  
не видали.

## НЕЗНАКОМОМУ

Незнакомый прохожий! Ты и не знаешь, как жадно я  
смотрю на тебя,  
Ты тот, кого я повсюду искал (это меня осеняет, как сон),  
С тобою мы жили когда-то весёлою жизнью,  
Всё припомнилось мне в эту минуту, когда мы  
проходим мимо, возмужалые, целомудренные,  
магнитные, любящие,

<sup>1</sup> Скво — индейская женщина.

Вместе со мною ты рос, со мною ты был мальчишкой.  
С тобою я ел, с тобою спал, и вот твоё тело становится не  
только твоим, и моё не только моим.  
Проходя, ты даришь мне усладу твоих глаз, твоего лица,  
твоего тела и за это берёшь мою бороду, руки и грудь,  
Мне не сказать тебе ни единого слова, мне только думать  
о тебе, когда я сижу одинокий, или ночью, когда  
я, одинокий, проснусь,  
Мне только ждать, я уверен, что снова у меня будет встреча  
с тобой,  
Мне только думать о том, как бы не утратить тебя.

### ГОРОДСКАЯ МЕРТВЕЦКАЯ

У городской мертвецкой, у самых ворот,  
Праздно бродя, пробираясь подальше от шума,  
Я с любопытством замедлил шаги, потому что — вот  
проститутка, брошенное жалкое тело,  
Сюда принесли её труп, он лежит на мокром кирпичном  
помосте, никто не пришёл за ним,  
Святыня-женщина, женское тело, я вижу тело, я только на  
него и гляжу.  
На этот дом, когда-то богатый красою и страстью, ничего  
другого я не вижу,  
Промозглая тишина не смущает меня, ни вода, бегущая из  
крана, ни трупный смрад,  
Но этот дом, удивительный дом, этот изящный, красивый  
развалина-дом,  
Этот бессмертный дом, который больше, чем все наши  
здания, какие когда-либо были построены,  
Чем наш Капитолий, с белым куполом, увенчанным гордой  
фигурой<sup>1</sup>, или старинные соборы с воздетыми  
к небу шпилями,  
Этот маленький дом, который больше их всех, несчастный,  
отчаянный дом,  
Этот прекрасный и страшный развалина-дом, обитель души,  
сам душа,  
Никому не нужный, пренебрегаемый всеми, — прими же  
дыхание губ задрожавших монахов

<sup>1</sup> Капитолий—здание Конгресса в Вашингтоне. На его куполе—  
статуя Свободы.

И слезу одинокую, как поминки от меня, уходящего,  
Ты, сокрушённый, разрушенный дом,— дом греха и безумия,  
ты, мертвецкая страсти,  
Дом жизни, недавно смеявшийся, шумный, но бедный дом  
и тогда уже мёртвый,  
Месяцы, годы звеневший, украшенный дом, но мёртвый,  
мёртвый, мёртвый.

### ИСПАНИЯ В 1873—1874 гг.<sup>1</sup>

Из мрака самых тяжких туч,  
Из-под феодальных обломков, из-под груды королевских  
скелетов,  
Из-под старого европейского хлама, когда затих шутовской  
маскарад,  
Из-под развалин церквей и дворцов, из-за поповских  
гробниц,  
Вот оно глянуло вдруг свежее, светлое лицо Свободы,  
знакомое бессмертное лицо.

Мы тебя не забыли, родная.  
Ты скрывалась так долго? И тучи снова закроют тебя?  
Всё же теперь ты явилась перед нами, мы уже знаем тебя,  
Теперь уже нам нельзя сомневаться, мы видели тебя.  
Ты там, ты ждёшь, чтобы пришло твоё время.

### БЕЙ! БЕЙ! БАРАБАН!— ТРУБИ! ТРУБА! ТРУБИ!

Бей! бей! барабан!— труби! труба! труби!  
В окна, в двери ворвитесь, как беспощадная рать,  
В величавую церковь, гоните молящихся  
В школу, где учится школьник,

---

<sup>1</sup> В 1873 г. испанский король Амедей был вынужден отречься от престола. Была провозглашена республика. Началась гражданская война. Во главе государства встал радикал Кастелар, талантливый учёный, блестящий оратор, человек выдающихся административных способностей. Он пытался установить республиканский режим, но в начале 1874 г. был свергнут реакционным парламентом. Наступившая после этого анархия привела к реставрации монархической власти: через несколько месяцев на престол Испании вступил Альфонс XII. Этот период междуцарствия имеет в виду Уолт Уитман, говоря о кратковременном явлении Свободы «из-под старого европейского хлама».

Не давайте покоя новобрачному, теперь не время  
наслаждаться с женой,  
Отнимите покой у спокойного фермера, что пашет поля и  
жнёт,  
Так бешено бьёт и гремит барабан, так звонко трубит  
труба!

Бей! бей! барабан!— труби! труба! труби!

Над грохотом города, над уличным стуком колёс.

— Что? постланы постели для спящих? пусть спящие не спят  
в тех постелях!

Не торговать, торгаши, — прочь маклеров, спекулянтов,  
или они не хотят перестать?

Будут ли говоруны говорить? и певец попытается петь?

И выступит в суде адвокат, чтобы изложить перед судьёй  
своё дело?

Так громче же, чаще, барабанная дробь, кричи, надрывайся,  
труба!

Бей! бей! барабан!— труби! труба! труби!

Не вступать в переговоры — не слушать увещаний,

Что вам за дело до трусливых, до просящих и хнычущих,

Пускай старик заклинает молодого,

Заглушите крик ребёнка и материнскую мольбу,

Пусть даже трупы сотрясутся, что лежат на грубых

скамьях, ожидая похорон,

Так страшен грозный барабан, так звонка труба!

## КАК ШТУРМАН

Как штурман, что дал себе слово ввести свой корабль в  
гавань, хотя бы его гнало назад и часто сбивало  
с пути,

Как следопыт, что пробирается вглубь, изнурённый  
бездорожною дядью,

Опалённый пустынями, обмороженный снегами, промоченный  
реками, идущий вперёд напролом, пока не  
доберётся до цели,

Так даю себе слово и я сложить для моей страны,—

услышит ли она или нет,— боевую походную песню,

Что будет призывом к оружию на многие года и века.

## ЛЕДЯНОЙ УРАГАН, СЛОВНО БРИТВАМИ

Ледяной ураган, словно бритвами врезается в берег,  
пушечный залп возвещает крушение,  
А потом утихает буря, и приходит луна, барахтаясь в зыби  
морской.

Я гляжу, где беспомощно бьётся корабль, он с треском  
налетел на скалу, я слышу, люди завывали от  
ужаса, вопли становятся глуше и глуше.

Я не в силах помочь, мои пальцы сжимаются в судороге,  
Я могу лишь кинуться к волнам, пусть они обольют меня и  
замёрзнут на мне.

Я вместе с толпою, мы ищем, ни одного не прибило живого,  
Утром я помогаю подбирать мертвецов и складывать их  
рядами в амбаре<sup>1</sup>.

## ВЫ, ПРЕСТУПНИКИ, СУДИМЫЕ В СУДАХ

Вы, преступники, судимые в судах,  
Вы, острожники в камерах тюрем, вы, убийцы,  
приговорённые к смерти, в ручных кандалах  
и на железной цепи.

Кто же я, что я не за решёткой, почему не судят меня?  
Я такой же окаянный и свирепый, что же руки мои не в  
цепях и лодыжки мои не в железах?

Вы, проститутки, по панелям гуляющие или  
бесстыдствующие в своих конурах,  
Кто же я, что могу вас назвать бесстыднее меня самого?

Я виновен! и сознаюсь, — сам прихожу с повинной!  
(Не хвалите меня, почитатели, — к чорту ваши льстивые  
слова!  
Я вижу, чего вы не видите, я знаю, чего вы не знаете.)

Внутри, за этими рёбрами, я лежу грязный, задохшийся,

---

<sup>1</sup> Здесь Уитман описывает подлинный случай: в 1840 г. у берегов его родного Долгого острова утонул большой корабль «Мексика».



## 4

Я думаю, геройские подвиги все рождались на вольном  
 ветру и все вольные песни на воздухе,  
 Я думаю, я мог бы сейчас встать и творить чудеса,  
 Я думаю, что я ни встречу сейчас на дороге, то с первого  
 взгляда полюбится мне,  
 И кто увидит меня, тот полюбит меня,  
 Я думаю, кого ни увижу сейчас, тот должен быть счастлив.

## 5

Большими глотками я глотаю пространство,  
 Запад и восток — мой, север и юг — мой.  
 Я больше, чем я думал, я лучше, чем я думал,  
 Я и не знал, до чего я хорош.  
 Всюду видится мне красота,  
 Снова и снова я могу повторять и мужчинам и женщинам:  
 вы сделали мне столько добра, и я хочу  
 отплатить вам добром,  
 Я развею себя между всеми, кого ни повстречаю на пути,  
 Я брошу им новую радость и грубость,  
 И кто отвергнет меня, не опечалит меня,  
 А кто примет меня, будет блажен и дарует блаженство мне.

## 6

Если бы тысячи совершенных мужчин предстали сейчас  
 предо мною, это не удивило бы меня,  
 Если бы тысячи красивейших женщин явились сейчас  
 предо мною, это не изумило бы меня,  
 Теперь я постиг, как создать самых лучших людей:  
 Пусть вырастают на вольном ветру, спят и едят с землею...  
 Здесь испытание мудрости,  
 Не в школах окончательно испытывается мудрость,  
 Мудрость не может быть передана от того, кто имеет её,  
 тому, кто не имеет её,  
 Вся мудрость — в душе, её нельзя доказать, она сама есть  
 своё доказательство.  
 Здесь я проверю сейчас все религии и философии,  
 Может быть, они хороши в залах, где читаются лекции,  
 но никуда не годятся под широкими тучами,  
 у бегущих ручьёв.

Почему многие мужчины и женщины, приближаясь ко мне,  
зажигают в крови моей солнце?  
Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости  
никнут?  
Почему, когда я прохожу под иными деревьями, меня  
осеняют всегда широкие и мелодические мысли?  
(Я думаю, и лето, и зиму они висят на этих деревьях и  
роняют плоды, всякий раз когда я прохожу.)  
Откуда благоволение ко мне проходящих мужчин и женщин?  
Откуда моё благоволение к ним?  
.....

## 9

Allons! кто бы ты ни был, выходи, и пойдём вдвоём!  
Со мной никогда не устанешь в пути.

Земля не утомит никогда,  
Сначала неприветлива, молчалива, непонятна земля,  
неприветлива и непонятна Природа,  
Но иди, не унывая, вперёд, дивные скрыты там вещи,  
Клянусь, не сказать никакими словами, какая красота в  
этих дивных вещах.

Allons! ни минуты не медля,  
Пусть эти склады набиты сладостями, пусть это жильё так  
уютно, мы не можем остаться здесь,  
Пусть эта гавань защищает от бури, пусть эти воды так  
тихи, мы не можем бросить в них якорь,  
Пусть окружают нас горячим радушием, нам дозволено  
предаться ему лишь на самый короткий срок.

## 10

Allons! соблазны будут ещё более сильны,  
Мы помчимся на всех парусах по безумным и бездорожным  
морям.  
Туда, где ветры бушуют во-всю, где сшибаются воды, где  
янки-клиппер<sup>1</sup> несётся вперёд, широко распустив  
паруса.

К л и п п е р — быстроходное парусное судно с крутыми бортами.

Allons! с нами сила, свобода, земля и стихии,  
С нами здоровье, задор, любопытство, гордость, восторг;  
Allons! от всех формул,  
От ваших формул, о материалисты-попы, с глазами летучих  
мышей.  
Протухший труп преграждает дорогу — уже невозможно  
откладывать похороны.

Allons! но предупреждаю тебя:  
Тому, кто путешествует со мною, нужны самые лучшие  
мышцы, самая лучшая кровь,  
Никто не смеет явиться на искус ко мне, покуда не  
принесёт с собою здоровья и мужества,  
Не приходите ко мне, кто уже растратил своё лучшее,  
Сифилитиков и пьяниц мне не надо...

11

Слушай, я не хочу тебе лгать,  
Я не обещаю тебе гладких, старинных наград, я обещаю  
тебе новые, жёсткие,  
Вот каковы будут дни, которые ожидают тебя:  
Ты не будешь собирать и громоздить то, что называется  
богатством,  
Всё, что наживёшь или создашь, ты будешь разбрасывать  
щедрой рукой,  
Войдя в город, не оставайся в нём дольше, чем нужно,  
и, верный неотразимому зову, поскорей иди  
оттуда прочь,  
Те, кто останутся у тебя позади, будут издеваться над  
тобой и язвить тебя злыми улыбками,  
На призывы любви тебе придётся ответить лишь страстным  
прощальным поцелуем.  
И ты оттолкнёшь те руки, что попытаются тебя удержать.  
.....

13

Выходи же, кто бы ты ни был! выходи, мужчина или  
женщина!  
Ты не должен прохлаждаться и нежиться в доме, хотя бы  
ты построил его сам или он для тебя был построен.  
Прочь из тюремного мрака! прочь из-за ширмы!  
Никаких возражений! они бесполезны, я знаю всё и выведу  
вас на чистую воду.







Я покину всех, я пойду и создам гимны тебе,  
Никто не понял тебя, я один понимаю тебя,  
Никто не был справедлив к тебе, ты сам не был справедлив  
к себе,  
Все находили изъяны в тебе, я один не вижу никаких  
изъянов в тебе,  
Все хотели тебя покорить, я один не хочу покорить тебя,  
Я один не ставлю над тобой ни владыки, ни господина, ни  
бога: над тобою лишь тот, кто таится в тебе самом.

Живописцы писали кишачие толпы людей, и между ними  
одного в самом центре,  
И голова этой центральной фигуры была в золотом ореоле,  
Я же пишу мириады голов, и все до одной в золотых  
ореолах,  
От руки моей льётся сияние, от мужских и от женских голов  
вечно исходит оно.

О, я мог бы пропеть столько песен о твоих величавых и  
славных делах.  
Как ты велик, ты не знаешь и сам, проспал ты себя самого,  
Твои веки как будто опущены были во всю твою жизнь,  
И всё, что ты делал, к тебе обернулось насмешкой.  
(Твои барыши и молитвы, и знания, если не в насмешку  
они обернулись, во что обернулись они?)

Но посмешище это — не ты,  
Там, под слудом, под ними, затаился ты, настоящий.  
И я вижу тебя, где никто не увидит тебя,  
Ни молчанье твоё, ни конторка, ни ночь, ни наглый твой  
вид, ни твоя повседневная жизнь не скроют  
тебя от меня;

Лицо твоё бритое, жёлтое, твой блуждающий взгляд пусть  
сбивают с толку других, но меня не собьют,  
Твой пошлый наряд, безобразную позу и пьянство, и жад-  
ность, и раннюю смерть — всё я отбрасываю прочь.

Ни у кого нет таких дарований, которых бы не было и у  
тебя,  
Ни такой красоты, ни такой доброты, какие теперь у тебя,  
Ни дерзания такого, ни терпения такого, какие есть у тебя,  
И какие наслаждения ждут других, такие ждут и тебя.

Я никому ничего не дам, если ровно столько же не дам и  
тебе,  
Никого, даже бога, я песней моей не прославлю, если я не  
прославлю тебя.

Кто бы ты ни был! Иди напролом и требуй!  
Эта пышность Востока и Запада—безделица рядом с тобой,  
Эти равнины безмерные и эти реки безбрежные — безмерен,  
безбрежен и ты, как они,  
Эти неистовства, бури, стихии, иллюзии смерти,—ты тот, кто  
над ними владыка,  
Ты по праву владыка над Природой, над болью, над  
страстью, над стихией, над смертью.

Пути спадают с лодыжек твоих, и ты видишь, что всё  
хорошо,  
Старый или молодой, мужчина или женщина, грубый,  
отверженный, низкий, основное твоё существо  
громко провозглашает себя,  
Через рождение, через жизнь, через смерть, через похороны,  
всё готово, и всего ему вдоволь,  
Через шев, утраты, честолюбие, невежество, скуку оно  
пробивает свой путь.

### ЛЮБОВНАЯ ЛАСКА ОРЛОВ

Иду над рекою по краю дороги (моя утренняя прогулка,  
мой отдых),  
Вдруг в воздухе, к небу, задавленный клёкот орлов,  
Стремительная любовная схватка вверху на просторе,  
Сцеплённые, сжатые когти, бешеное, живое, вертящееся  
колесо,  
Бьющих четыре крыла, два клюва, тугое сцепление  
кружащейся массы,  
Кувырканье, бросание, увёртки, петли, прямое падение вниз,  
Над рекою повисли, двое — одно, в оцепенении истомы,  
Всё ещё в недвижимом равновесии — и вот расстаются, и  
когти ослабли,  
И в небо вздымаются вкось на медленно-мощных крылах,  
Он своим, и она своим отдельным путём.

### ОДНОМУ ШТАТСКОМУ

Ты просил у меня сладковатых стишков?  
Тебе были нужны невоенные, мирные, томные песни?  
По-твоему, то, что я пел до сих пор, было непонятно и  
трудно?

Но ведь я и не пел для того, чтобы ты поняла меня или шёл  
бы за мной,  
Я и теперь не пою для тебя.

(Я рождён заодно с войною,  
И барабанная дробь — для меня сладкая музыка, и мне  
любы похоронные марши,  
Провожающие бойца до могилы с тягучим рыданием, с  
конвульсией слёз.)

Что для таких, как ты, такие поэты, как я? Оставь же мою  
книгу,  
Ступай и баюкай себя тем, что ты можешь понять, какой-  
нибудь негромкой пианинной мелодией,  
Ибо я никого не баюкаю, и ты никогда не поймёшь меня.

## ЛЕТОПИСЦЫ БУДУЩИХ ВЕКОВ

Летописцы будущих веков,  
Вот я открою вам эту бесстрастную внешность, я скажу вам,  
что написать обо мне.

Напечатайте имя моё и портрет мой повесьте повыше, ибо  
имя моё — это имя того, кто умел так нежно  
любить.

И портрет мой — друга портрет, страстно любимого другом,  
Того, кто не песнями своими, гордился, но безграничным в  
себе океаном любви, кто из себя изливал его  
щедро на всех,

Кто часто блуждал на путях одиноких, о друзьях, о  
желанных мечтая,  
Кто часто в разлуке с другом скорбный лежал по ночам без  
сна,

Кто хорошо испытал, как это страшно, как страшно, что  
тот, кого любишь, может быть, втайне к тебе  
равнодушен,

Чьё счастье бывало: по холмам, по полям, по лесам  
пробираться, обнявшись вдвоём, в стороне от  
других,

Кто часто, блуждая по улицам с другом, клал себе на плечо  
его руку, а свою к нему на плечо.

# КОГДА ВО ДВОРЕ ПЕРЕД ДОМОМ ЦВЕЛА ЭТОЙ ВЕСНОЮ СИРЕНЬ

(Памяти президента Линкольна)

[14 апреля 1865 г. президент Соединённых Штатов Авраам Линкольн, только что приведший к победному концу гражданскую войну за объединение страны, сидел вместе со своей женой в ложе Вашингтонского театра и смотрел весёлую пьесу «Наш американский кузен». Около десяти часов вечера в ложу прокрался никем не замеченный пьяный молодой человек и выстрелил в него из пистолета. Президент упал. Бывший в ложе майор попытался удержать убийцу, тот прыгнул на него, прыгнул из ложи на сцену и бросился вон из театра. Впоследствии оказалось, что это Джон Уилкис Бус, третьестепенный актер, южанин, фактический сторонник побеждённого рабовладельческого Юга.

Президента отнесли в один из ближайших домов, и к утру он скончался. Его тело в течение недели оставалось в Вашингтоне, а с 21 апреля начались пышные похороны: гроб везли через всю страну: из Филадельфии в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Чикаго и т. д. Похоронили президента 4 мая в городе Спрингфилде (штат Иллинойс). Уитман в своей поэме изображает это многодневное погребальное шествие.

Теперешние толкователи Уитмана расшифровывают символику этой поэмы так: звезда — Линкольн; сирень — человеческая любовь и т. д. Такие педантические толкования низводят художественные образы к уровню пустых аллегорий, но характерно, что сам Уолт Уитман относился к подобным комментариям сочувственно.

Знаменитый английский поэт Олджернон Суинберн назвал эту поэму «самым звучным ноктюрном, когда-либо пропетым в храме мира».

Переводчик

## 1

Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень  
И никла большая звезда на западном небе в ночи,  
Я плакал и всегда буду плакать, всякий раз как вернётся  
весна.

Каждой новой весной эти трое будут снова со мной!  
Сирень в цвету, и звезда, что на западе никнет,  
И мысль о нём, о любимом.

## 2

О, могучая упала звезда!  
О, тени ночные! О, слёзная, горькая ночь!  
О, сгинула большая звезда! О, закрыл её чёрный туман!  
О, жестокие руки, что бессильного держат меня!  
О, немощное сердце моё!  
О, шершавая туча, что обволокла моё сердце и не хочет  
отпустить его на волю.

## 3

На ферме, во дворе, пред старым домом, у забора, белённого  
 известью,  
 Выросла высокая сирень с сердцевидными ярко-зелёными  
 листьями,  
 С мириадами нежных и острых цветков, с сильным запахом,  
 который я люблю,  
 И каждый листок есть чудо, и от этого куста во дворе,  
 С цветками такой нежной окраски, с сердцевидными ярко-  
 зелёными листьями,  
 Я ветку, всю в цвету, отломил.

## 4

Вдали, на укромном болоте,  
 Притаилась пугливая птица и поёт-распевает песню.  
 Дрозд одинокий,  
 Отшельник, в стороне от людских поселений,  
 Поёт песню себе одному.  
 Песню кровоточащего горла,  
 Песню жизни, куда изливается смерть (ибо хорошо, милый  
 брат, я знаю,  
 Что, если бы тебе не дано было петь, ты, наверное, умер  
 бы).

## 5

Над грудью весны, над страной, среди городов,  
 Меж дорогами, сквозь старинные чащи, где недавно из-под  
 земли пробивались фиалки—крапинки на серой  
 прошлогодней листве,  
 Проходя по тропинам, где справа и слева полевая трава,  
 проходя бесконечной травой,  
 Минуя жёлтые стебли пшеницы, воскресшей из-под савана  
 в тёмнобурых полях, —  
 Проходя мимо садов, мимо яблонь, что в розовом и в белом  
 цвету,  
 Неся мёртвое тело туда, где оно ляжет в могилу,  
 День и ночь путешествует проб.

## 6

Гроб проходит по тропинам и улицам,  
 Через день, через ночь в большой туче, от которой чернеет  
 земля,





Грядую холмов на речных берегах,  
И чтобы тут же поблизости город с теснотою домов, со  
множеством труб дымовых,  
И чтоб были все сцены жизни, и все мастерские, и рабочие,  
идушие с работы домой.

## 12

Вот, тело и душа — моя страна,  
Мой Манхаттан, шпили домов, искристые и торопливые  
воды, корабли,  
Разнообразная широкая земля, Юг и Север в сиянии, берега  
Огайо и сверкающая, как пламя, Миссури,  
И бескрайные вечные прерии, покрытые травой и кукурузой.

Вот самое отличное солнце, такое спокойное, гордое,  
Вот лилово-красное утро с еле ощутимыми бризами,  
Безграничное сияние, мягкое, нежно-рождённое,  
Чудо, разлитое повсюду, смывающее всех, завершительный  
полдень,  
Сладостный близкий вечер, желанная ночь и звёзды,  
Что сияют над моими городами, обнимая человека и страну.

## 13

Пой же, пой, серо-бурая птица,  
Пой из укромных болот, лей свою песню с кустов,  
Безграничную песню из тьмы, оттуда, где кедры и ельник.  
Пой, мой любимейший брат, щебечи свою свирельную песню,  
Человеческую громкую песню, звучащую безмерной тоской.  
О текучий, и свободный, и нежный!  
О дикий, освобождающий душу мою, — о чудотворный певец!  
Я слушаю тебя одного, но звезда ещё держит меня (и всё  
же она скоро уйдёт),  
Но сирень с властительным запахом держит меня.

## 14

Пока я сидел среди ночи и смотрел пред собою,  
Смотрел в светлый вечеряющий день, с его весенними нивами,  
с фермерами, готовящими свой урожай,  
В широком безотчётном пейзаже страны моей, с лесами, с  
озёрами,  
В этой воздушной неземной красоте (после буйных ветров и  
шквалов),



Верным и хватким рукам, холодящим объятиям смерти.  
Тёмная мать! Ты всегда скользишь неподалёку тихими и  
мягкими шагами,  
Пел ли тебе кто-нибудь песню самого сердечного приветя?  
Эту песню пою тебе я, я прославляю тебя выше всех,  
Чтобы ты, когда наступит мой час, шла неспотыкающимся  
шагом.

Могучая спасительница, ближе!  
Всех, кого ты унесла, я пою, я весело пою мертвецов,  
Утонувших в любовном твоём океане,  
Омытых потоком твоего блаженства, о смерть!

От меня тебе серенады веселья,  
Пусть ганцами отпразднуют тебя, пусть наряжутся, пируют,  
Тебе подобают открытые дали, высокое небо  
И жизнь, и поля, и громадная задумчивая ночь.

Тихая ночь под обильными звёздами,  
Берег океана и хриплые волны, голос которых я знаю,  
И душа, обращённая к тебе, о хорошо укутанная, просторная  
смерть,  
И тело, льнущее к тебе благодарно.

Над вершинами деревьев я возношу мою песню к тебе,  
Над волнами, встающими и падающими, над мириадами  
прерий, полей,  
Над городами, густо набитыми людом, над кишачными  
дорогами и верфями,  
Я шлю тебе эту весёлую песню, радуйся, радуйся, о смерть.

## 15

В один голос с моей душой  
Громко и сильно пела серо-бурая птица,  
Чистыми и чёткими звуками широко наполняя ночь.

Громко в елях и сумрачных кедрах,  
Ясно в мокрой свежести и в благоуханьи болот,  
И я с моими товарищами там среди ночи.

И забрезжили предо мною войска,  
И, словно в беззвучных снах, я увидел боевые знамёна,  
Сотни знамён, проносимых сквозь дымы сражений,  
пробитых картечью и пулями,  
Они метались туда и сюда, сквозь дымы сражений, рваные,  
залитые кровью,

И под конец только два-три обрывка остались на древках  
(и всё в тишине).

Вот и древки разбиты, расщеплены.

И я увидел трупы войны, мириады трупов,  
Я увидел кучи и кучи всех убитых войною солдат,  
Но я увидел, что они были совсем не такие, как мы о них  
думали,

Они были совершенно спокойны, они не страдали,  
Живые оставались и страдали, мать страдала,  
И жена, и ребёнок, и тоскующий товарищ страдали,  
И войска, что оставались, страдали.

## 16

Проходя мимо этих видений, проходя мимо ночи,  
Проходя мимо песни, что пела отшельница-птица в один  
голос с моей душой, —

Победная песня, преодолевшая смерть, но многозвучная  
всегда переменчивая,

Рыдальная, тоскливая песня, с такими чистыми трелями,  
она вставала и падала, она заливала своими  
потоками ночь,

Она то замирала от горя, то будто прозила, то снова  
взрывалась счастьем,

Она покрывала землю и наполняла собой небеса,  
И когда я услышал в ночи из далёких болот этот могучий  
псалом,

Проходя, я расстался с тобою, о сирень с сердцевидными  
листьями,

Расцветай во дворе, у дверей, с каждой новой и новой весной.

От моей песни я ради тебя оторвался

И уже не гляжу на тебя, не гляжу на запад для беседы  
с тобою,

О лучистый товарищ с серебряным ликом в ночи.

И всё же я сохраню навсегда каждую, каждую ценность,  
добытую мной этой ночью,

Песнь, изумительную песнь, пропетую серо-бурою птицею,  
И ту песнь, что пропела душа моя, отзываясь на неё, словно  
эхо,

И никнущую яркую звезду с полным страданья лицом,

И тех, что, держа меня за руки, шли вместе со мною на  
призыв этой птицы,



Теперь у тебя руки раба, и глаза, и голос, и походка раба,  
Дыханье пропойцы, лицо объедалы, плоть сифилитика,  
Лёгкие отгнивают у тебя по кускам, желудок дрянной,  
разъедаемый раком,

Суставы поражены ревматизмом, кишки набиты пакостью,  
Кровь циркулирует тёмной ядовитой струёй.

Вместо слов — бормотня, слух и осязание притуплены,  
Не осталось ни мозга, ни сердца, исчез магнетизм пола, —  
Вот что из зеркала глянет в тебя перед тем, как ты отсюда  
уйдёшь!

Такой итог, и так скоро — после такого начала!

### ГДЕ ОСАЖДЁННАЯ КРЕПОСТЬ?

Где осаждённая крепость, бессильная отбросить врага?  
Вот я посылаю туда командира, он проверен, он смел и  
бессмертен,

С ним и пехота, и конница, и обозы орудий,  
И артиллеристы беспощаднее всех, что когда-либо палили из  
пушек.

### ОДНАЖДЫ Я ПРОХОДИЛ ПО МНОГОЛЮДНОМУ ГОРОДУ

Однажды я проходил по многолюдному городу, внедряя в  
свою память для будущих надобностей его  
эрелица, здания, обычаи, нравы,

Но теперь из всего этого города я помню только некую  
женщину, которую я случайно там встретил, и  
она удержала меня, потому что полюбила меня,

День за днём, ночь за ночью мы были вдвоём, всё остальное  
я давно позабыл,

Помню только её, эту женщину, которая пылко прилепилась  
к мне,

Опять мы блуждаем вдвоём, мы любим, мы расстаёмся опять,  
Опять она держит меня за руку, и мне нельзя уйти,  
Я вижу её, она тут, и беззвучно дрожат её губы.

## НЕКОЕЙ ПЕВИЦЕ

Вот возьми этот дар.

Я его берёг для героя, оратора или полководца,

Для того, кто послужит старинному правому делу, великой  
идее, прогрессу и свободе народа,

Для бесстрашного обличителя деспотов, для дерзкого бунтаря;

Но я вижу, что мой издавна берегаемый дар принадлежит  
тебе, как любому из них.

## ОТРЫВОК

Счастье только в тебе, ты не можешь достигнуть его при  
помощи кого-нибудь другого,

Как не можешь родить или зачать при помощи кого-нибудь  
другого.

## ДЕРЕВЕНСКАЯ КАРТИНА

За широкими воротами мирной риги деревенской

Озарённая поляна со скотом и лошадьми,

И туман, и ширь, и дальний уходящий горизонт.

## ИЗУМЛЕНИЕ РЕБЁНКА

Мальчишкою малым, бывало, замолкну и в изумлении

слушаю,

Как в воскресных речах у священника бог выходит всегда

супостатом,

Противоборцем какой-нибудь твари.

## КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Женщины сидят или ходят, молодые и старые.

Молодые красивы, но старые гораздо красивее.

## МЫСЛЬ

О вере, о покорности, о преданности:  
Я стою в стороне и смотрю, и меня глубоко умиляет,  
Что тысячи и тысячи людей идут за такими людьми, которые  
не верят в людей.

## ВОКАЛИЗМ

### 1

Звучность, размеренность, сжатость, упорство и божественная  
власть говорить слова;  
Твой лёгкие стали могучи, и губы твои сделались гибки  
после долгих усилий? после тяжких трудов? или  
ты таков от природы?  
Так же ли широка твоя поступь, как широки эти земли?  
Должным ли путём ты пришёл к божественной власти  
говорить слова?  
Ибо, только пройдя через многие годы, через целомудрие,  
дружбу, воздержность, наготу и рождение,  
Реки прудью пройдя, и озёра, и побродив по земле,  
И горло своё разрешив, и всосав в себя темпераменты,  
народы, века, изведав и науки, и свободу, и  
преступления,  
И утвердись в своей вере, и возвысив и очистив душу, и  
сокруша преграды,  
Лишь тогда ты, быть может, достигнешь божественной  
власти говорить слова,  
И к тебе поспешат без отказа тесным строем, плечо к плечу  
Войска, корабли, древности, библиотеки, картины, машины,  
города, ненависть, отчаяние, дружба, боль,  
воровство, убийство, мечта,  
Придут, когда нужно, и покорно прорвутся сквозь губы твои.

### 2

О, почему я дрожу, когда я слышу голоса человеческие?  
Воистину, кто бы ни сказал мне настоящее слово, я всюду  
пойду за ним или за ней,  
Как вода за луною, безмолвной струистой стопой всюду  
вокруг шара земного.

Всё только и ждёт настоящего голоса;  
Где же совершенные и крепкие лёгкие? где душа, прошедшая  
через все испытания?  
Ибо я вижу, что только такая душа несёт в себе новые звуки,  
которые глубже и слаще других, иначе этим  
звукам не звучать.

Иначе и губы и мозги запечатаны, литавры и тимпаны не  
бряцают.  
Покуда не явится такая душа, которая может открыть и  
ударить,  
Покуда не явится такая душа, которая может вызвать  
наружу то, что дремлет во всех словах.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛО ПОЮ

Я знал одного человека, обыкновенного фермера, отца пяти  
сыновей,  
И в них — отцов сыновей, и в них — отцов сыновей.  
Это был человек удивительной мощи, большой красоты,  
необыкновенно спокойный,  
Форма его головы, его светложёлтые и белые волосы,  
безмерная выразительность его чёрных глаз, его  
щедрые и широкие жесты,  
Чтобы взглянуть на всё это, я часто приходил к нему в  
дом, — был он к тому же мудр.  
Ему было больше восьмидесяти, его сыновья были дюжие,  
бородатые, опрятные, загорелые, стройные,  
Они и его дочери любили его, все, кто видел его, любили его,  
Они любили его не потому, что так принято, они любили его  
личной любовью,  
Пил он одну только воду, кровь просвечивала, словно кумач,  
сквозь смуглую кожу его лица,  
Он был завзятый рыбак и стрелок, он сам ходил в море под  
парусом, у него был отличный бот, подаренный  
ему знакомым строителем лодок, у него были  
охотничьи ружья, подаренные ему теми, кто любил  
его,  
Когда он шёл со своими пятью сыновьями и многими  
внуками на охоту или на рыбную ловлю, он  
показался бы вам самым красивым и сильным из  
них изо всех,



Женщины, что вам стыдиться?

Вы ворота тела, и вы ворота души.

В женщине всё, все качества, она придаёт им гармонию,

Она на своём месте, она в равновесии, она движется  
гармонично и прямо,

Она — все вещи под достоподобным покровом, она и  
действенная и косная равно,

Ей зачинать не только дочерей, но и сынов, не только сынов,  
но и дочерей.

Когда я вижу мою душу, отражённую в Природе,

Когда я вижу сквозь туман Кого-то в невыразимой  
законченности, в красоте и здоровьи,

Вижу склонённую голову и руки, скрещённые на груди,  
Женщину вижу я.

## 7

Мужское тело продаётся с аукциона

(Я часто ходил до войны на невольничий рынок и глядел,  
как идёт торговля).

Продавец бестолков, не умеет работать, я иду и помогаю  
продавцу.

Джентльмены, посмотрите на это чудо,

Какую бы цену за него ни просили, оно стоит гораздо  
больше,

Чтобы создать это чудо, земля готовилась миллиарды веков  
без единого растения и животного,

И, не спотыкаясь, упорно кружились миры для него.

И эта голова — в ней всеокрушающий мозг,

В ней и под ней вещество, из которого создаются герои.

Всмотритесь в эти руки и ноги — красные, чёрные, белые, —  
как мудры в них жилы и нервы,

С них может быть содрана кожа, чтобы вы видели их.

Тончайшее чувство, зажжённые жизнью глаза, хотенье,  
отвага,

Выступы мускулов тут на груди, гибкий спинной хребет,  
вёрткая шея, мясо не рыхлое, руки и ноги  
хороших размеров,

И какие чудеса там внутри.

Там кровь пробегает,  
Всё та же древняя кровь! всё та же красная кровь!  
Там набухает и мечется сердце, там все желания, способности,  
страсти, мечты.  
(Или, по-твоему, их там нет, раз они не выражают себя в  
салонах и в аудиториях на лекции?)

Он не один, он отец тех, кто станут отцами и сами,  
В нём начало многолюдных государств, богатых республик,  
Он множества жизней бессмертных источник, бесчисленных  
воплощений и радостей.

И знаете ли вы, кто придёт от потомков потомков его через  
мириады веков!

## ПЕСНЯ О ВЫСТАВКЕ

(Фрагменты)

Муза, беги из Эллады, покинь Ионию,  
Сказки о Трое, об Ахилловом гневѣ забудь, о скитаниях  
Энея, Одиссея,  
К скалам твоего снегового Парнаса дощечку прибей: «За  
отъездом сдаётся внаём».  
И такое же повесь объявление в Сионе, на Яффских воротах  
и на горе Мориа,  
И на всех итальянских музеях, на замках Германии, Испании,  
Франции,  
Ибо новое царство, вольнее, бурливее, шире, ожидает как  
владычицу тебя.

Наши призывы услышаны!  
Да и сама она издавна жаждала этого.  
Она идёт! Я слышу шелест её одежд!  
Я чую сладостный аромат её дыхания!

О царица цариц! О, смею ли верить,  
Что классические статуи и эти древние храмы не могли  
удержать её?  
Что тени Вергилия, Данте и мириады преданий, поэм,  
старых связей и дружб не влекли её, как магниты,  
к себе?  
Что она кинула всё и — здесь?

Да, уже умер, замолк её голос там, над Кастальским ключом,  
И египетский Сфинкс с перебитою губою умолк,  
И замолчали гробницы, хитро ускользнувшие от власти  
веков,  
Каллиопа уже никого не зовёт, и Мельпомена, и Клио, и  
Талия мертвы,  
Иерусалим — горсть золы, развеянной вихрем, сгинул,  
Полки крестоносцев, потоки полночных теней, растаяли вместе  
с рассветом.  
Где людоед Пальмерин? где башни и замки, отражённые  
водами Уска?  
И все рыцари Артура пропали, Мерлин, Ланселот, Галахад,  
сгнули, сникли, исчезли, как пар,  
Ушёл он! ушёл от нас навсегда этот мир, когда-то могучий,  
но теперь опустелый, безжизненный, мгlistый,  
Шелками расшитый, ослепительно яркий, чужой, весь в  
пышных легендах и мифах,  
Его короли и чертоги, его попы и воители-лорды, его  
придворные дамы  
В короне, в военных доспехах, он ушёл вместе с ними в свой  
кладбищенский склеп и там заколочен в гроб,  
И герб его — алая страница Шекспира,  
И панихида над ним — сладко тоскующий стих Теннисона.

К нам спешает знаменитая emigrée, я вижу её, если вы и  
не видите,  
Торопится к нам на свидание, с силой пробивает себе дорогу  
локтями, шагает в толпе напролом,  
Жужжание наших машин и резь паровозных свистков её  
не страшат,  
Её не смущают ни дренажные трубы, ни циферблат  
газметра, ни искусственные удобрения полей,  
Приветливо смеётся и рада остаться  
Она здесь, среди кухонной посуды!  
Но погодите — или я забыл приличье?  
Представить незнакомку тебе, Колумбия! (Для чего же я  
живу и пою?)  
Во имя Свободы приветствуй бессмертную! ударьте по рукам,  
И огнь вы обе, как сёстры, живите в любви.

Ты же, о Муза, не бойся! поистине новые дни и пути  
принимают, окружают тебя,  
И, признаться, странные, очень странные люди, небывалая  
порода людей,  
Но сердца всё те же, и лица те же,

Люди внутри и снаружи всё те же, чувства те же, порывы  
те же,

И красота, и старая любовь та же...

...О, мы построим здание,

Пышнее всех египетских гробниц,

Прекраснее храмов Эллады и Рима.

Твою мы построим церковь, о пресвятая индустрия, и это  
не будет гробница,

Это будет храм изобретений для практической жизни.

Я вижу её, как во сне наяву,

Даже сейчас, когда я пою эту песню, я вижу, она встаёт  
предо мною,

Я вижу её пророческим взором,

И громоздится этаж на этаж, и фасады из стекла и железа,

И солнце, и небо ей рады, она раскрашена самыми весёлыми  
красками,

Бронзовой, синей, сиреневой, алой,

И над её золотокованной крышей будут развеваться во всей  
красоте под твоим стягом, Свобода,

Знамена каждого Штата и флаги каждой земли,

И тут же вокруг неё целый выводок благородных дворцов,—  
они не так высоки, но прекрасны.

В стенах её собрано всё, что движет людей к совершеннейшей  
жизни,

Всё это испытывается здесь, изучается, совершенствуется и  
выставляется всем напоказ.

Не только создания трудов и ремёсел,

Но и все рабочие мира будут представлены здесь.

Здесь вы увидите в процессе, в движении каждую стадию  
каждой работы,

Здесь у вас на глазах материалы будут, как по волшебству,  
менять свою форму.

Хлопок будут собирать тут же, чуть ли не в самых полях,  
Его будут сушить, очищать от семян, и у вас на глазах  
превращать в нитки и тканьь,

Вам покажут старые и новые процессы работ,

Вы увидите разные зёрна, и как их мелют в муку, и как  
печётся хлебопёками хлеб,

Вы увидите, как грубая руда после многих процессов  
становится слитками чистого золота,

Вы увидите, как набирает наборщик, и узнаете, что такое  
верстатка,  
С удивлением увидите вы, как вращаются цилиндры  
ротационных машин,  
Выбрасывая лист за листом тысячи печатных листов,  
Перед вами будут создавать фотоснимки, часы, гвозди,  
булавки, модели всевозможных машин.

В больших и спокойных залах величавый музей даст вам  
безграничный урок минералов,  
В другом вам покажут деревья, растения, овощи,  
В третьем животных, их жизнь, изменения их форм в веках.  
Один величавый дом будет домом музыки,  
В других будут другие искусства и всякие другие премудрости,  
И ни один не будет хуже другого, все их будут равно  
почитать, и изучать, и любить.

(И это, да, это, Америка, будут твои пирамиды, и твои  
обелиски,  
Твой Александрийский маяк, твои сады Вавилона,  
Твой Олимпийский храм.)

Так прочь же эти старые песни!  
Эти романы и драмы о чужеземных дворах,  
Эти любовные стансы, облитые потокой рифмы, эти интриги  
и амуры бездельников,  
Годные лишь для банкетов, где ночные танцоры шаркают  
подошвами под музыку,  
Разорительная забава для немногих,  
С духами, вином и теплом, под сверкающими канделябрами.

Муза! я приношу тебе наше здесь и наше сегодня,  
Пар, керосин и газ, экстренные поезда, великие пути  
сообщения,  
Триумфы нынешних дней: нежный кабель Атлантики,  
И тихоокеанский экспресс, и Суэцкий канал, и Готардский  
туннель, и Гузекский туннель, и Бруклинский мост.  
Всю землю тебе приношу, как клубок, обмотанный рельсами  
и пароходными тропами, избороздившими каждое море,  
Наш вертящийся шар приношу...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Эта «Песня» была прочтена Уолтом Уитманом на четвертой годичной выставке Американского института в Нью-Йорке в 1871 г. Когда пять лет спустя в Филадельфии открылась другая, более грандиозная, выставка (по случаю столетнего юбилея Соединённых Штатов), Уитман

## ТЫ, ЗАГОРЕЛЫЙ МАЛЬЧИШКА ИЗ ПРЕРИЙ

Ты, загорелый мальчишка из прерий,  
И до тебя приходило в наш лагерь много желанных даров,  
Приходили похвалы и подарки, и хорошая пища, пока,  
наконец, с новобранцами  
Прибыл и ты, молчаливый, без всяких подарков, но мы  
глянули один на другого,  
И больше, чем всеми дарами вселенной, ты одарил меня.

## ЧАС БЕЗУМСТВУ И СЧАСТЬЮ

Час безумству и счастью! О бешеная! Дай же мне волю!  
(Что это так в ураганах освобождает меня?  
О чём я кричу среди молний и разъярённых ветров?)  
О, испытать этот загадочный бред глубже всякого другого  
мужчины!  
О, дикие и нежные боли! (Я завещаю их вам, мои дети,  
Я завещаю их вам, о новобрачные муж и жена!)  
О, отдаться тебе, кто бы ни была ты, а ты чтобы мне  
отдалась наперекор всей вселенной!

---

приурочил к ней свою «Песню», причём указал в предисловии, что считает эту выставку триумфом американского рабочего класса.

Кастальский ключ — источник на склоне горы Парнас в Греции. Аполлон (бог поэзии и пения) придал источнику вдохновляющую силу: кто из него пил, становился поэтом.

Каллиопа — муза эпической поэзии. Мельпомена — муза трагедии. Талия — муза комедии. Клио — муза истории. Король Артур — полупоэтический вождь бриттов. Волшебник Мерлин, рыцарь Ланселот и людоед Пальмерин — герои средневековых сказаний о рыцарях Круглого Стола. Знаменитый английский поэт Теннисон (1809—1892) положил эти сказания в основу своей поэмы «Идиллия короля». Его поэму имеет в виду Уолт Уитман.

Суэцкий канал прорыт между Африкой и Азией в 1869 г.; соединяет Средиземное море с Красным.

Готардский туннель прорыт в 1872—1881 гг. в центральной части Швейцарских Альп; соединяет Швейцарию с Италией. Длина туннеля 15 000 метров.

Гузекский туннель (длиною в 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> мили) прорыт в Гузекской горе в штате Массачусетс (США); строился 20 лет (1855—1874).

Бруклинский мост (длиною в полторы мили) соединяет Нью-Йорк с Бруклином; строился одиннадцать лет (1872—1883).

О, снова вернуться в рай! О женственная и застенчивая!  
О, притянуть тебя близко к себе и впервые прижать к тебе  
настойчивые губы мужчины.  
О, загадка, о, трижды завязанный узел, тёмный, глубокий  
омут, сразу распуталось всё и озарилось огнём!  
О, наконец-то умчаться туда, где достаточно простора и  
воздуха!  
О, вырваться на волю от прежних цепей и обычностей, —  
ты от твоих, и я от моих!  
Найти неожиданно лучшее, что есть в Природе, и им  
наслаждаться беспечно,  
Вытащить, наконец-то, затычку, что тебе затыкала рот!  
Почувствовать, что наконец-то сегодня я совершенно доволен  
и больше мне не надо ничего.

О, что-то, чего не знал! что-то в экстатическом сне!  
Сорваться со всех якорей и зацепок!  
Вольно мчаться! вольно любить! кинуться прямо в опасность!  
Подниматься до самого неба любви, которая предназначена  
мне!  
Взлететь туда вместе с моей пьяной душой!  
Если нужно, пропасть, погибнуть!  
Напитать весь остаток жизни этим часом полноты и свободы,  
Кратким часом безумства и счастья!

## ПЕСНЯ ЗНАМЕНИ НА УТРЕННЕЙ ЗАРЕ

Поэт

О новая песня, свободная песня,  
Ты плещешь, и плещешь, и плещешь, и плещешь, в тебе  
голоса, в тебе чистые звуки,  
Голос ветра, голос барабана.  
Голос знамени, и голос ребёнка, и голос моря, и голос отца,  
Внизу на земле и вверху над землёю,  
На земле, где отец и ребёнок,  
Вверху над землёю, куда глядят их глаза,  
Где плещется знамя в сиянии зари.

Слова! книжные слова! что такое слова?  
Больше не нужно слов, потому что, смотрите и слушайте,  
Песня моя здесь, в вольном воздухе, и я не могу не петь,  
Когда плещется знамя и флаг.

Я скручу струну и вплету в неё  
Всё, чего хочет мужчина, всё, чего хочет младенец,  
я вдохну в неё жизнь,  
Я вложу в мою песню острый, сверкающий штык, свист пуль  
и свист картечи  
(Подобно тому, кто, неся символ и угрозы далёкому  
будущему,  
Кричит трубным голосом: *пробудись и восстань! эй,*  
*пробудись и восстань!*)  
Я полью мою песню потоками крови, крови текучей и  
радостной,  
Я пушу мою песню на волю, пусть летит, куда хочет,  
Пусть состязается с плещущим знаменем, с длинным  
остроконечным флажком.

### Флаг<sup>1</sup>

Сюда, певец, певец,  
Сюда, душа, душа,  
Сюда, мой милый мальчик, —  
Носиться со мною меж ветрами и тучами, играть с  
безграничным сиянием дня.

### Ребёнок

Отец, что это там в небе зовёт меня длинным пальцем?  
И о чём оно говорит, говорит?

### Отец

В небе нет ничего, мой малютка, но посмотри-ка сюда,  
В эти дома загляни, сколько там блестящих вещей,  
Видишь, открываются меняльные лавки,  
Сейчас по улицам поползут колесницы, доверху наполненные  
кладью,  
Вот куда нужно смотреть, это самые ценные вещи, в них  
вложено много труда,  
Их желает весь шар земной.

### Поэт

Свежее и красное, как роза, солнце взбирается выше,  
В дальней голубизне растекается море,

<sup>1</sup> В подлиннике длинный, узкий, как лента, вымпел.

И ветер над грудью моря мчится-летит к земле,  
Сильный упрямый ветер с запада и с западо-юга,  
Шальный ветер летит по воде с белоснежной пеной на волнах.

Но я не море, я не красное солнце,  
Я не ветер, который смеётся, как девочка,  
Ветер, который растёт, который сечёт, как кнутом.  
Не душа, которая бичует своё тело до ужаса, до смерти,  
Но я то, что приходит незримо и поёт, и поёт, и поёт,  
Я то, что лепечет в ручьях, я то, что шумит дождём,  
Я то, что ведомо птицам, в чаще, по вечерам и утрам,  
Я то, что знают морские пески и шипящие волны,  
И знамя, и этот флажок, которые плещутся-бьются вверху.

### Ребёнок

Отец, оно живое — оно полно народу — у него есть дети,  
Мне кажется, сейчас оно говорит со своими детьми,  
Да, я слышу — оно и со мной говорит — о, это так чудесно!  
Смотри, оно ширится, — и так быстро растёт — о, посмотри,  
отец,  
Оно так разрослось, что закрыло собою всё небо.

### Отец

Перестань ты, мой глупый младенец,  
То, что ты говоришь, огорчает и сердит меня,  
Смотри, куда смотрят все, не на знамёна и флаги,  
На мостовую смотри, как хорошо она вымощена,  
смотри, какие крепкие дома.

### Знамя и флаг

Говори с ребёнком, о певец из Манхаттана,  
Говори со всеми детьми на юге и на севере Манхаттана,  
Забудь обо всём на свете, укажи лишь на нас одних,  
хотя мы и не знаем, зачем,  
Ведь мы бесполезные тряпки, мы только лоскутья,  
Которые бьются-мотаются по ветру.

### Поэт

Нет, вы не только тряпки, я слышу и вижу другое,  
Я слышу, идут войска, я слышу, кричат часовые,  
Я слышу, как весело горланят миллионы людей, я слышу  
Свободу!

Я слышу, стучат барабаны и трубы трубят,  
Я быстро вскочил и лечу,  
Я лечу, как степная птица, я лечу, как морская птица,  
я лечу и смотрю с высоты.

Мне ли отвергать все радости мирной жизни?

Я вижу города многолюдные, я вижу богатства несчётные,  
Я вижу множество ферм, я вижу фермеров, работающих в  
поле,

Я вижу машинистов за машинами, я вижу, как строятся  
здания, одни начинаются, другие приходят к концу,

Я вижу вагоны, быстро бегущие по железным путям, их  
тянут за собою паровозы,

Я вижу кладовые, сарай, железнодорожные склады и станции  
в Бостоне, Балтиморе, Новом Орлеане, Чарлстоне,

Я вижу на Дальнем Западе огромные груды зерна, над  
ними я замедляю полёт,

Я пролетаю на севере над строевыми лесами, и дальше —  
на юг — над плантациями, и снова лечу в Калифорнию,

И, взором окинувши всё, я вижу колоссальные доходы и  
зарботки,

Я вижу Неделимое, созданное из тридцати восьми Штатов,  
обширных и гордых Штатов (а будут ещё и ещё),

Вижу форты на морских берегах, вижу корабли, которые  
входят в гавани и выходят из гаваней,

И над всем, над всем (да! да!) мой маленький узкий  
флажок, выкроенный, как тонкая шпага,

Он поднимается вверх, в нём вызов и кровавая война,  
теперь его подняли вверх,

Рядом с моим знаменем, широким и синим, рядом со  
звёздным знаменем!

Прочь, мирная жизнь, от земли и морей!

### Знамя и флаг

Громче, звонче, сильнее кричи, о певец! рассеки своим  
криком воздух!

Пусть наши дети уже больше не думают, что в нас лишь  
богатство и мир,

Мы можем быть ужасом, кровавой резнёй,

Теперь мы уже не эти обширные и гордые Штаты (не пять  
и не десять Штатов),

Мы уже не рынок, не банк, не железнодорожный вокзал,

Мы серая широкая земля, подземные шахты — наши,

Морское побережье — наше, и большие и малые реки,

И поля, что орошаются ими, и зёрна и фрукты — наши,

И суда, которые снуют по волнам, и бухты, и каналы, —  
наши,

Мы парим над пространством в три или четыре миллиона  
квадратных миль, мы парим над столицами,  
Над сорокамиллионным народом, — о бард! — великим и в  
жизни и в смерти,  
Мы парим в высоте не только для этого дня, но на тысячу  
лет вперед,  
Мы поём нашу песню твоими устами, песню для сердца  
одного мальчугана.

### Ребёнок

Отец, не люблю я домов,  
И никогда не научусь их любить, и деньги мне тоже не  
дороги,  
Но я хотел бы, о мой милый отец, подняться туда, в высоту,  
я люблю это знамя,  
Я хотел бы быть знаменем, и я должен быть знаменем.

### Отец

Мой сын, ты причиняешь мне боль,  
Быть этим знаменем страшная доля,  
Ты и догадаться не можешь, что это такое быть знаменем  
сегодня и завтра, всегда,  
Это значит: не приобрести ничего, но каждую минуту  
рисковать.  
Выйти на передовые позиции в боях — о, в каких ужасных  
боях!  
Что у тебя общего с ними?  
С безумствами демонов, с кровавой резнёй и безвременной  
смертью?

### Флаг

Что ж! демонов и смерть я пою,  
Я, боевое знамя, по форме подобное шпаге,  
Всё, всё я вложу в мою песню — и новую радость, и новый  
экстаз, и болтливую тревогу детей,  
И звуки мирной земли, и всё смывающую влагу морскую,  
И чёрные боевые суда, что сражаются, окутанные дымом,  
И ледяную прохладу далёкого, далёкого севера, и шумящие  
кедры и сосны,  
И стук барабанов, и топот идущих солдат, и горячий  
сверкающий Юг,  
И прибрежные волны, которые, словно гребнями, чешут  
мой восточный и западный берег,  
И всё, что между Востоком и Западом, и мою Миссисипи,  
что вечно струится, её излучины, её водопады,

И мои поля в Иллинойсе, и мои канзасские поля, и мои  
поля на Миссури,  
Весь материк до последнего атома,  
Всё я возьму, всё солью, растворю, проглочу  
И спою буйную песню, — довольно изящных и ласковых  
слов, губных музыкальных звуков,  
Наш голос — ночной, он не просит, он хрипло каркает  
вороном в ветре.

### Поэт

Моё тело, мои жилы расширились, наконец-то мне ясна  
моя тема,  
Тебя я пою, о ночное, широкое знамя, тебя, бесстрашное,  
тебя, величавое,  
Долго был я слепой и глухой,  
Теперь возвратился ко мне мой язык, снова я слышу всё  
(Маленький ребёнок меня научил).  
Я слышу, о боевое знамя, как насмешливо ты кличешь меня,  
Безумное, безумное знамя (и всё же, кого, как не тебя  
я пою).  
Нет, ты не тишь домов, ты не сытость, ты не роскошь  
богатства.  
(Если понадобится, эти дома ты разрушишь — каждый из  
них до последнего,  
Ты не хотело бы их разрушать, они такие прочные, уютные,  
на них так много истрачено денег,  
Но могут ли они уцелеть, если ты не решишь над ними?)  
О знамя, ты не деньги, ты не жатва полей,  
Но что мне товары и склады, и всё, привезённое морем,  
И все корабли, пароходы, везущие богатую кладь,  
Машины, вагоны, повозки, доходы с богатых земель,  
Я вижу лишь тебя,  
Ты возникло из ночи, усеянное гроздьями звёзд (вечно  
растущих звёзд!)  
Ты подобно заре, ты тьму отделяешь от света,  
Ты разрезаешь воздух, к тебе прикасается солнце,  
ты меряешь небо  
(Бедный ребёнок влюбился в тебя, только ребёнок увидел  
тебя,  
А другие занимались делами, болтали о наживе, о наживе).  
О поднебесное знамя, ты вьёшься и шипишь, как змея,  
Тебя не достать, ты лишь символ, но за тебя проливается  
кровь, тебе отдают жизнь и смерть,  
Я люблю тебя, люблю, я так люблю тебя,  
Ты усыпано звёздами ночи, но ведёшь за собою день,

Бесценное, я гляжу на тебя, ты над всеми, ты всех зовёшь  
(державный владыка всех), о знамя и флаг,  
И я покидаю всё, я иду за тобой, я не вижу ни домов, ни  
машин,  
Я вижу лишь тебя, о воинственный флаг! О широкое знамя,  
я пою лишь тебя,  
Когда ты плещешь в высоте под ветрами.

## МЫ ДВОЕ, КАК ДОЛГО МЫ БЫЛИ ОБМАНУТЫ

Мы двое, как долго мы были обмануты,  
Мы Природа, и долго нас не было дома, теперь  
мы вернулись,  
Мы стали кустами, стволами, листвою, корнями, корою,  
Мы высажены в землю, мы скалы,  
Мы два дуба, мы растём рядом на лесной луговине,  
Мы на пастбище, мы в диком стаде, мы, вольные, щиплем  
траву,  
Мы две рыбы, плывущие рядом,  
Мы уголь, землистый уголь, мы перегной растений и  
зверей,  
Мы хищные ястребы, мы парим в небесах и смотрим оттуда  
вниз,  
Мы два яркие солнца, мы в равновесии со звёздами, мы две  
кометы,  
Мы клыкастые четвероногие в чаще лесной, мы бросаемся  
одним прыжком на добычу,  
Мы два облака, мы целыми днями несёмся один за другим,  
Мы два моря, смешавшие воды, мы весёлые волны —  
налетаем одна на другую,  
Мы, как воздух, всеприемлющи, прозрачны, проницаемы,  
непроницаемы,  
Мы снег, мы дождь, мы мороз, мы тьма, мы всё, что  
только создано землёю,  
Мы кружились и кружились в просторах, и вот, наконец, мы  
дома,  
Мы исчерпали всё, нам осталась лишь воля да радость.

## СТРАШНОЕ СОМНЕНИЕ В ОБЛИЧЬЯХ

Страшное сомнение в обличьях,  
Тревога, а что если нас надувают?  
Что если наша вера и наши надежды напрасны

И загробная жизнь есть лишь красивая сказка?

И, может быть, то, что я вижу: животные, растения,  
холмы, люди, бегущие, блистающие воды,

Ночное, дневное небо, краски и формы, может быть, это  
(и даже наверное) только одни привидения, а  
настоящее нечто ещё не открылось для нас.

(Как часто они встают предо мной без покрова, будто  
затем, чтобы посмеяться надо мною, подразнить  
меня,

Как часто я думаю, что ни я, ни другие не знаем о них  
ничего.)

Может быть, мне лишь кажется, что они таковы  
(о, несомненно, лишь кажется) с моей нынешней  
точки зрения, и может оказаться (о, несомненно  
может), что они совсем другое или просто ничто  
с других, совершенно изменившихся, точек;

Но эти сомнения исчезают так странно перед лицом моих  
милых, моих друзей,

Если тот, кого я люблю, пойдёт побродить со мною или  
сядет рядом со мною, держа мою руку в своей,

Что-то неуловимо-неясное, какое-то знание без слов и  
мыслей охватит нас и проникнет в нас,

Неизъяснимой, неизъясняемой мудростью тогда я исполнен,  
тихо сижу и молчу, ни о чём уже больше не  
спрашиваю,

Я всё же не в силах ответить на свои вопросы о смерти и  
о будущей жизни за гробом,

Но что мне за дело тогда, сижу или хожу, я спокоен,

Кто держит меня за руку, тот утолил мои тревоги вполне.

## ЗАПРУЖЕНЫ РЕКИ МОИ

Запружены реки мои, и это причиняет мне боль,

Нечто есть у меня, без чего я был бы ничто,

Это хочу я прославить, хотя бы я стоял меж людей одиноко,

Голосом зычным моим я воспеваю фаллос,

Я пою песню зачатий,

Я пою, что нужны нам великолепные дети и в них

великолепные люди,

Я пою возбуждение мышц и слияние тел,

Я пою песню тех, кто спит на одной кровати (о, неодолимая  
похоть!

О, взаимное притяжение тел! для каждого тела своё

манящее тело!

И для вашего тела — своё, о, оно доставляет вам счастье  
больше всего остального!)

Ради того, что ночью и днём, голодное, гложет меня,  
Ради мгновений зачатия, ради этих застенчивых болей, я  
воспеваю и их,

В них я надеюсь найти, чего я не нашёл нигде, хотя  
ревностно искал много лет,

Я пою чистую песню души, то вспыхивающей, то  
потухающей,

Я возрождаюсь с животными или с грубейшей Природой  
Этим я песни мои насыщаю, а также тем, что сопутствует  
этому,

Запахом лимонов и яблок, весенней влюблённостью птиц,  
Лесною росой, набеганием волн,

Диким набеганием волн на сушу, я воспеваю и их,  
Увертюрой, что звучит еле слышно, как предвкушение  
мелодии,

Желанною близостью, видом прекрасного тела,  
Пловец обнажённый, плывущий в воде или на волне  
неподвижно лежащий,

Близится женское тело, я потупляюсь, любовная плоть  
у меня и дрожит, и болит,

Создаётся дивный инвентарь для меня, для вас, и для  
всякого,

Лицо, руки и ноги, перечень с головы и до пят и те  
чувства, которые он возбуждает,

Загадочный бред, сумасшествие страсти, о, отдаться тебе до  
конца!

(Близко прижмись и слушай, что я теперь шепчу тебе,

Я люблю тебя, о, я принадлежу тебе весь,

О, только бы нам ускользнуть от всех, убежать  
беззаконными, вольными,

Два ястреба в небе, две рыбы в волнах не так беззаконны,  
как мы;)

О, дикая буря, сквозь меня проходящая, и я, от страсти  
дрожащий,

О, клятва о том, что мы слиты навеки, я и женщина,  
которая любит меня и которую я люблю  
больше, чем жизнь мою

(О, я охотно отдал бы всё за тебя,

И если нужно, пускай пропаду!

Только бы ты и я! И что нам до того, что делают и  
думают другие?

Что нам до всего остального? только бы нам насладиться

друг другом и замучить друг друга совсем, до  
конца, если иначе нельзя;)

Ради того капитана, которому я уступаю всё судно,  
Ради того полководца, который командует мною, командует  
всеми,

Ради нашего пола, основы всего,  
Ради того, что в тиши я так часто томился один,  
когда множество близких вокруг, а та, кого  
хочешь, не близко,

Ради долгого, задержанного поцелуя в грудь или в губы,  
Ради тесных объятий, которые делают пьяным меня и  
всякого другого мужчину,  
Ради того, что знает хороший супруг, ради этой работы  
отцовства,

Ради восторга, победы и отдыха (податливое одеяло  
отброшено прочь!).

Ради того, что она так не хочет, чтобы я от неё оторвался,  
и я не хочу оторваться

(Но, нежная, помедли мгновение, я опять возвращусь  
к тебе!)

Ради этого часа, когда звёзды сияют и падают росы,

Я славлю тебя, о священное дело, и вас, о дети, готовые  
к нему,

И вас, могучие чресла.

## **ДРЯХЛЫЙ, БОЛЬНОЙ, Я СИЖУ И ПИШУ**

Дряхлый, больной, я сижу и пишу,  
И мне тягостно думать, что ворчливость и скука  
моих стариковских годов,  
Окоченелость, боли, запоры, сварливая мрачность, плаксивые  
жалобы  
Могут просочиться в ежедневные песни мои.

## **КОГДА КОНЧАЕТСЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ**

Когда кончается ослепительность дня,  
Только тёмная, тёмная ночь показывает глазам моим  
звёзды;  
А когда отгремит величавый орган, или хор, или прекрасный  
оркестр,  
Только в молчании навстречу душе моей движется симфония  
истинная.

## СТАРИКОВСКОЕ СПАСИБО

Стариковское спасибо, пока я не умер,  
За здоровье, за полуденное солнце, за этот неосязаемый  
воздух,  
За жизнь, просто за жизнь,  
За бесценные воспоминания, которые со мною всегда (о тебе,  
моя мать, мой отец, мои братья, сёстры, товарищи),  
За все мои дни, не только дни мира, но также и дни войны,  
За нежные слова, ласки, подарки из чужих краёв,  
За кров, за вино и мясо, за добрые чувства ко мне,  
которые доставляют мне радость  
(Вы, далёкие, неведомые, словно в тумане, милые читатели,  
молодые или старые, для меня безымянные,  
Мы никогда не видались и никогда не увидимся, и всё же  
наши души обнимаются долго, крепко и долго),  
За всё, что живёт, за любовь, дела, слова, книги, за краски  
и формы,  
За всех смелых и сильных, за преданных, упорных людей,  
которые стояли за свободу во все века во всех  
странах,  
За самых смелых, самых сильных, самых преданных (им  
особый лавр, пока я не умер,— в битве жизни  
отборным бойцам,  
Канонирам песни и мысли, великим артиллеристам, вождям,  
капитанам души),  
Как солдат, что воротился домой по окончании войны,  
Как путник, один из тысяч, что озирается на пройденный  
путь,  
На длинную процессию идущих за ним,  
Спасибо! весёлое спасибо! от путника, от солдата спасибо!

## ПЕСНЯ О СЕБЕ

### 1

Я славлю себя и воспеваю себя,  
И что я принимаю, то примете вы,  
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.  
Я слоняюсь лодырем и зову мою душу,  
Я слоняюсь и, лениво нагнувшись, всматриваюсь в летнюю  
травинку.

Мой язык, каждый атом моей крови созданы из этой почвы,  
из этого воздуха,  
Рождённый здесь от родителей, рождённых здесь от  
родителей, тоже рождённых здесь,  
Я теперь, тридцати семи лет, в полном здравьи, начинаю  
[эту песню],  
Надеясь не кончить до смерти.

Догматы и школы пускай подождут,  
Пусть отступят немного назад, не беда, мы не забудем и их.  
Я — тавань для доброго и злого, я позволяю во всякое  
время, всегда  
Говорить невозбранно с первобытной силой.

## 2

Пахнут духами дома и квартиры, на полках духи без конца,  
Я и сам дышу их ароматом, я знаю его и люблю,  
Их раствор опьянил бы меня, но я не хочу опьяняться.

Воздух — не духи, он не сделан в лаборатории, он без  
запаха,

Я глотал бы его вечно, я влюблён в него,  
Я пойду на лесистый берег, я разделюсь и стану голым,  
Я до безумия рад, что воздух прикасается ко мне.

Пар моего дыхания,  
Эхо, струйки воды, журчащие шопоты, любовный корень,  
шелковинка, дерево с вилообразными сучьями,  
лоза винограда,

Мои вдохи и выдохи, биение сердца, прохождение крови и  
воздуха через мои лёгкие,

Запах свежей листвы и сухой листвы, запах морского берега  
и тёмных морских утёсов, запах сена в амбаре,

Мой голос, извергающий слова, которые я бросаю навстречу  
ветрам,

Лёгкие поцелуи, объятия, касания рук,  
Игра света и тени в деревьях, когда колышутся гибкие  
ветки,

Радость — оттого, что я один, или оттого, что я в (уличной  
сутолоке, или оттого, что я брожу по холмам и  
полям,

Ощущение здоровья, трели в полуденный час, песня, которую  
я распеваю, встав с постели и встречая солнце.

Ты думал, что тысяча акров это много? Ты думал, что  
земля это много?

Ты так долго учился читать,  
Ты с гордостью думал, что тебе удалось добраться до  
смысла поэм?

Побудь этот день и эту ночь со мною, и у тебя будет  
источник всех поэм,  
Все блага земли и солнца станут твоими (миллионы солнц в  
запасе у нас),  
Ты уже не будешь брать вещи из вторых или третьих рук,  
Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или  
питаться призраками книг,  
И моими глазами ты не станешь смотреть, ты не возьмёшь  
у меня ничего,  
Ты выслушаешь и тех и других и профильтруешь всё через  
себя.

### 3

Я слышал, о чём говорили говоруны, их говор о начале и  
конце,  
Я же не говорю ни о начале, ни о конце.

Никогда ещё не было такого зачатия, как теперь,  
Ни такой юности, ни такой старости, как теперь,  
Никогда не будет таких совершенств, как теперь,  
Ни такого небесного счастья, ни такого ада, как теперь.

Движение, движение, движение,  
Вечно плодородное движение мира.

Из мрака выходят двое, они так несхожи, но равны: вечно  
материя, вечно рост, вечно явление пола,  
Вечно ткань из различия и тождества, вечно зарождение  
жизни.

Незачем вдаваться в подробности, учёный и неуч чувствуют,  
что это так.

Прочно и твёрдо и прямо, скованные мощными скрепами,  
Крепкие, как кони, электрические, гордые, страстные,  
Тут мы стоим с этой тайной вдвоём.

Ясна и сладка моя душа, ясно и сладко всё, что не моя  
душа.

У кого нет одного, у того нет другого, невидимое  
утверждается видимым,  
Покуда оно тоже не станет невидимым и не получит  
подтверждений в свой черёд.

Гоняясь за лучшим, отделяя лучшее от худшего, век  
досаждает веку, —

Я же знаю, что все вещи в ладу и согласии.  
Покуда люди спорят, я молчу, иду купаться и восхищаюсь  
собой.

Да здравствует каждый орган моего тела, и все органы  
любого человека, простого и чистого,  
Нет ни одного вершка постыдного, изменного, ни одной  
доли вершка, ни одна доля вершка не будет  
менее мила, чем другая.

Я доволен — я смотрю, пляшу, смеюсь, пою;  
Когда любовница ласкает меня и спит рядом со мною всю  
ночь, и уходит на рассвете украдкой,  
И оставляет мне корзины, покрытые белой тканью,  
заполняющие собою весь дом,  
Разве я отвергну её дар, разве я стану укорять мои глаза  
За то, что, глянув на дорогу вослед моей милой,  
Они сейчас же высчитывают до последнего цента точную  
цену одного и точную цену двух?

#### 4

Странники и вопрошатели окружают меня,  
Люди, которых встречаю, влияние на меня моей юности, или  
квартиры, или города, в котором я живу, или  
народа,  
Последние события, открытия, изобретения, общества, старые  
и новые писатели,  
Мой обед, моё платье, мои близкие, внешность, комплименты,  
обязанности,  
Подлинное или воображаемое равнодушие ко мне мужчины  
или женщины, которых люблю,  
Болезнь кого-нибудь из близких или моя болезнь, проступки  
или потеря денег, или недостаток денег, или  
уныние, или восторг,  
Битвы, ужасы братоубийственной войны, горячка  
недостоверных известий, прерывистые события, —  
Всё это приходит ко мне днём и ночью и уходит от меня  
опять,

Но всё это не есть моё Я.

Вдали от этой суеты и маяты стоит то, что есть моё Я,  
Стоит весёлое, добродушное, участливое, праздное, целостное,  
Стоит и смотрит вниз, стоит прямо и опирается рукою,  
стибает руку над незримой опорой,  
Смотрит, наклонив голову набок, с любопытством, что будет  
дальше.

Оно и участвует в игре и не участвует, следит за нею и  
удивляется ей.

Я смотрю назад, на минувшие дни, где я пробирался в поту  
сквозь туман, с разными лингвистами и спорщиками,  
У меня нет ни насмешек, ни доводов, я наблюдаю и жду.

## 5

Я верю в тебя, моя душа, но другое моё Я не должно перед  
тобой унижаться,  
И ты не должна унижаться перед ним.

Поваляйся со мной на траве, вынь пробку у себя из горла,  
Ни слов, ни музыки, ни песен, ни обычаев, ни лекций мне не  
надо, даже самых лучших,  
Убаюкай меня колыбельною, рокотом твоего многозвучного  
голоса.

Я помню, как однажды мы лежали вдвоём в такое  
прозрачное летнее утро,  
Ты положила голову мне на бедро и нежно повернулась ко  
мне,  
И приподняла рубаху у меня на груди и вонзила язык в моё  
голое сердце,  
И дотянулась до моей бороды и дотянулась до моих ног.

Быстро возникли и простёрлись вокруг меня покой и знание,  
которое выше всех земных рассуждений и доводов,  
И я знаю, что божья рука есть для меня обещание,  
И я знаю, что божий дух есть брат моего,  
И что все мужчины, когда бы они ни родились, тоже мои  
братья, и женщины — мои сёстры и любовницы,  
И что сущность творения — любовь,  
И что бесчисленны листья в полях — и прямые, и поникшие,  
И бурые муравьи в маленьких кельях под ними,  
И мшистые лишай на плетне, и груды камней, и бузина, и  
коровяк, и лаконоска.

Ребёнок сказал: что такое трава? и принёс мне её  
полные горсти,  
Как мог я ответить ребёнку? Я знаю не больше его, что  
такое трава.

Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зелёной  
материи — цвета надежды.

Или, может быть, это платочек от бога,  
Надушённый, нарочно брошенный нам на память в подарок,  
Где-нибудь в уголке есть и метка, имя владельца, чтобы,  
увидя, мы могли сказать, чей?

Или, может быть, трава и сама есть ребёнок, возвращённый  
младенец зелени.

А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же,  
И может быть, он означает: «Взрастая одинаково в широких  
зонах и в узких зонах,  
Среди белых и среди чернокожих,  
И канука, и токагоэ, и конгрессмена<sup>1</sup>, и негра, — я  
принимаю одинаково, всем им даю одно».

А теперь она кажется мне прекрасными нестриженными  
волсами могил.

Кудрявая трава, я буду ласково гладить тебя,  
Может быть, ты растёшь из грудей каких-нибудь юношей,  
Может быть, если бы я знал их, я любил бы их,  
Может быть, ты растёшь из старцев или из младенцев,  
только что оторванных от материнской груди,  
Может быть, ты и есть материнская грудь.

Эта трава так темна, она не могла взрасти из седых  
материнских голов,  
Она темнее, чем бесцветные бороды старцев,  
Она темна и не могла возникнуть из-под бледнорозовых  
кровель ртов.

О, я вижу, что голосов так много,  
И что они звучат изо ртов неспроста.

<sup>1</sup> Канук — канадский житель французского происхождения; токагоэ — житель маленького городка близ Нью-Йорка; конгрессмен — депутат парламента в США.

Я хотел бы передать их невнятную речь об умерших юношах  
и девушках,  
А также о стариках и старухах, и о младенцах, едва только  
оторванных от материнской груди.

Что, по-вашему, случилось со стариками и юношами?  
И во что обратились теперь дети и женщины?

Они живы, и им хорошо,  
И малейший росток указывает, что смерти на деле нет,  
А если она и была, она вела за собою жизнь, она не  
подстерегает жизнь, чтобы её прекратить,  
Она гибнет сама, лишь только появится жизнь.

Всё идет вперёд и вперёд, ничто не умирает,  
Умереть—это вовсе не то, что ты думал, но гораздо приятнее.

## 7

Думал ли кто, что родиться на свет это счастье?  
Спешу сообщить ему или ей, что умереть это такое же  
счастье, и я это знаю.

Я умираю вместе с умирающими и рождаюсь вместе с  
только что обмытым младенцем, я весь не  
вмещаюсь между башмаками и шляпой,  
Я гляжу на разные предметы, ни один не похож на другой,  
каждый по-своему хорош.  
Земля хороша, и звёзды хороши, и все спутники их хороши.

Я не земля и не спутник земли,  
Я товарищ и собрат людей, таких же бессмертных и  
бездонных, как я  
(Они не знают, как они бессмертны, но я знаю).

Всё существует для себя и своих, для меня моё, мужское и  
женское.

Для меня те, что были мальчишками и любят женщин,  
Для меня самолюбивый мужчина, который знает, как жалят  
обиды,  
Для меня невеста и старая дева, для меня матери и матери  
матерей,  
Для меня губы, которые улыбались, глаза, которые  
проливали слёзы,  
Для меня дети и те, что рожают детей.



Настежь распахнуты ворота амбара,  
 Медленно въезжает фургон, тяжело нагруженный сеном,  
 Яркий свет попеременно играет на зелёном и серо-буром,  
 Охапки сена привязаны к осевшему стогу.

Я там, я помогаю, я приехал на возу, растянувшись,  
 Я чувствовал лёгкие толчки, одну ногу я закинул за другую,  
 Я прыгаю с поперечных жердей, выхватываю тимофеевку и  
 клевер,  
 Я кувыркаюсь, и в волосы мне набивается сено.

## 10

Далеко, в пустыни и горы, я ушёл один на охоту,  
 Брожу удивлённый проворством своим и весельем,  
 К вечеру выбрал себе безопасное место для сна  
 И развожу костёр и жарю свежеубитую дичь,  
 И засыпаю на ворохе листьев, рядом со мною мой  
 пёс и ружье.

Янки-клинпер несётся на раздутых марселях, мечет искры и  
 брызги, глаза мои уставились в землю, я,  
 согнувшись, сижу за рулём или весело кричу с  
 палубы.

Лодочники и собиратели ракушек вставали чуть свет и  
 поджидали меня,  
 Я запихивал штаны в голенища, шёл вместе с ними, и время  
 проходило отлично.  
 Побывали бы вы с нами у котла, где варилась уха.

На дальнем Западе я видел свадьбу зверолова, невеста  
 была краснокожая,  
 Её отец со своими друзьями молчаливо сидел невдали,  
 скрестив ноги, немо куря, и были у них на  
 ногах мокасины, и плотные широкие одеяла  
 свисали у них с плеча,  
 Зверолов бродил по песчаному берегу, одетый в звериные  
 шкуры, шея у него была закрыта пышной  
 бородой и кудрями, он за руку держал свою  
 невесту,  
 У неё ресницы были длинные, голова непокрыта, и ровные  
 жёсткие волосы свисали на её сладострастное  
 тело и достигали до ног.

Беглый раб забежал ко мне во двор и спрятался у самого  
дома,  
Я услышал, как он шевелится в куче скрипучего хвороста,  
В полуоткрытую кухонную дверь я увидел его, обессиленного,  
И вышел к нему, он сидел на полене, я ввёл его в дом и  
успокоил его,  
И принёс воды, и наполнил лохань, чтобы он вымыл  
вспотевшее тело и покрытые ранами ноги,  
И дал ему комнату рядом с моею и дал ему грубое чистое  
платье,  
И помню я хорошо, как бегали у него зрачки и какой он  
был неуклюжий,  
И помню, как я наклеивал ему пластыри на исцарапанную  
шею и на шиколки ног,  
Он жил со мною неделю, отдохнул и ушёл на север,  
Я сажал его за стол рядом с собою, а кремнёвое ружьё моё  
было в углу.

## 11

Двадцать восемь молодых мужчин купаются на берегу,  
Двадцать восемь молодых мужчин, и все они так дружны;  
Двадцать восемь годов женской жизни, и все они так  
одиноким.

Чудесный дом у неё на пригорке у моря,  
Красивая, богато одетая, за ставней окна она прячется.

Кто из молодых мужчин ей по сердцу больше всего?  
Ах, самый нескладный из них для неё красивее всех.

Куда же, куда вы, леди? ведь я вижу вас,  
Вы плещетесь в воде, хоть стоите неподвижно в своей  
комнате.

И вот она прошла там по берегу двадцать девятой  
купальщицей с пляской и смехом,  
Те не видали её, но она видела их и любила.

Бороды у молодых мужчин блестели от воды, вода стекала  
с их длинных волос,  
Ручейки бежали у них по телам.

И так же бежала у них по телам чья-то рука-невидимка,  
И дрожа пробегала всё ниже от висков и от рёбер.

Молодые мужчины плывут на спине, и их белые животы  
обращаются к солнцу, и ни один не спросит,  
кто так крепко прижимается к ним,  
И ни один не знает, кто это так, задыхаясь, наклонился над  
ними  
И кого они окатывают брызгами.

## 12

Подручный мясника снимает одежду, в которой он резал  
скот, или точит нож о базарную стойку,  
Я замедляю шаги, мне по сердцу его бойкий язык и его  
бесшабашная пляска.

Кузнецы с волосатой закопчённой грудью встали вокруг  
наковальни,  
У каждого в руках огромный молот, работа в разгаре, жарко  
пылает огонь.

Я стою на покрытом золою пороге и слежу их движения,  
Гибкость их стана подстать их могучим рукам,  
Вверх поднимаются молоты, вверх так медленно, вверх так  
уверенно,  
Они не торопятся, каждый бьёт куда надо.

## 13

Негр крепкой рукою держит вожжи четверки коней,  
Камень, прикрученный цепью, качается у него под телегой,  
Из каменоломни он едет, прямой и высокий, он стоит на  
телеге, упершись ногой в передок,  
Его синяя рубаха открывает широкую шею и грудь,  
свободно спускаясь на бёдра,  
У него спокойный и повелительный взгляд, он заламывает  
вверх поля шляпы.  
Солнце падает на его усы и курчавые волосы,  
Падает на черноту его великолепных лоснящихся рук.

Я гляжу на этого картинного гиганта и люблю его, и не  
могу удержаться на месте,  
Я бегу вместе со всеми его лошадьми.





Машинист засучил рукава, полисмен обходит участок,  
 привратник отмечает, кто идёт,  
 Парень управляет фургоном (я влюблён в него, хоть и не  
 знаю его),  
 Метис завязывает шнурки своих лёгких ботинок перед  
 состязанием в беге,  
 Ястребиная охота на Западе привлекает молодых и старых,  
 одни оперлись на ружья, другие сидят на брёвнах,  
 Из толпы выходит искусный стрелок, становится на своё  
 место, прицеливается,  
 Группы новых иммигрантов покрывают верфь или пристань,  
 Кудлатоголовые<sup>1</sup> машут мотыками на сахарном поле,  
 надсмотрщик наблюдает за ними с седла,  
 Рог трубит, призывает в залу, кавалеры бегут к своим  
 дамам, танцоры отвешивают друг другу поклоны,  
 Подросток не спит на чердаке под кедровою крышей и  
 слушает музыкальный дождь,  
 Житель Уврайна ставит западни для зверей у большого  
 ручья, который помогает Гурону наполниться<sup>2</sup>,  
 Скво завернулась в материю с жёлтой обшивкой и  
 предлагает купить мокасины и сумочки,  
 расшитые бисером,  
 Знаток изогнулся и полуприщуренным глазом озирает  
 картинную выставку,  
 Матросы закрепили пароходик у пристани и бросили на  
 берег доску, чтобы дать пассажирам сойти,  
 Младшая сестра держит для старшей нитки, старшая мотает  
 клубок, из-за узлов у неё всякий раз остановка,  
 Жена поправляется, счастливая, неделю назад родила она  
 первенца ровно через год после свадьбы,  
 Чистоволосая девушка-янки работает у швейной машины  
 или на заводе, или на фабрике,  
 Мостовщик наклоняется над двурукой трамбовкой, карандаш  
 репортёра быстро порхает над блокнотом,  
 Маляр пишет буквы на вывеске лазурью и золотом,  
 Мальчик-бурлак мелким шагом идёт бечевой вдоль канала,  
 бухгалтер сидит за конторкой над цифрами,  
 сапожник натирает дратву воском,  
 Дирижёр отбивает такт для оркестра, и все музыканты  
 послушны ему,  
 Крестят ребёнка, у новообращённого первая исповедь,

<sup>1</sup> Негры.

<sup>2</sup> У в р а й н — городок в Мичигане, близ озера Гурон; Г у р о н — одно из величайших озёр Северной Америки.

Яхты заполнили бухту, гонки начались (как искрятся белые паруса!),  
 Гуртовщик следит, чтоб быки не отбились от стада, и песней сзывает отбившихся,  
 Разносчик потеет под тяжестью короба (покупатель торгуется из-за каждого цента),  
 Невеста оправляет белое платье, минутная стрелка часов движется медленно,  
 Курильщик опия откинул окоченелую голову и лежит с разжатыми губами,  
 Проститутка волочит шаль по земле, шляпка висит у неё на льяной прыщавой шее.  
 Толпа смеется над её похабною бранью, мужчины глумятся, друг другу подмигивая.  
 (Жалкая! я не смеюсь над твоею бранью и не глумлюсь над тобой!)  
 Президент ведёт заседание совета, окружённый важными министрами.  
 По площади, дружески обнявшись, величаво шествуют три матроны,  
 Матросы рыболовного смака складывают в трюмы пласты палтуса<sup>1</sup> один на другой,  
 Миссуриец пересекает равнину со своим скотом и товаром,  
 Кондуктор идёт по вагону получить с пассажиров плату и даёт знать о себе, бряцая серебром и медяками,  
 Плотники настилают полы, кровельщики кроют крышу, каменщики кричат, чтобы им дали известку,  
 Рабочие проходят гуськом, у каждого на плече по корытцу для извести,  
 Одно время года идёт за другим, и четвёртого числа Седьмого месяца собрались неописуемые толпы (какие салюты из пушек и ружей!)<sup>2</sup>.  
 Одно время года идёт за другим, пахарь пашет, косит косарь, и озимые сыплются наземь,  
 Далеко на озёрах стоит шуколов и караулит яму в замёрзшей поверхности,  
 Частые пни обступают прогалину, скваттер рубит топором что есть силы,  
 К сумеркам рыбаки в плоскодонках спешно гребут близ орешника и хлопковых плантаций,  
 Охотники за енотами рыщут в области Красной реки, или Арканзаса, или Тенесси,

<sup>1</sup> Смак — небольшое рыболовное судно; палтус — рыба.

<sup>2</sup> Четвёртое июля — годовщина декларации независимости США (1776).

Факелы сверкают во мгле, что висит над Чатахучи или  
 Альтомахо<sup>1</sup>,  
 Патриархи сидят за столом с сынами и сынами сынов и  
 сыновных сынов сынами,  
 В стенах эдобе<sup>2</sup> и в холщёвых палатках отдыхают охотники  
 после охоты,  
 Город спит, и деревня спит,  
 Живые спят, сколько надо, и мёртвые спят, сколько надо,  
 Старый муж спит со своею женою, и молодой — со своею,  
 И все они льются в меня, и я выливаюсь в них,  
 И все они — я,  
 Из них изо всех и из каждого я тку эту песню о себе.

16

Я и молодой и старик, я столь же глуп, сколь и мудр,  
 Нет мне забот о других, я только и забочусь о других,  
 Я и мать и отец равно, я и мужчина и малый ребёнок,  
 Я жёсткой набивкой набит, я мягкой набит набивкой,  
 Много народов в Народе моём, величайшие народы и самые  
 малые,  
 Я и северянин и южанин, я беспечный и радушный садовод,  
 живущий у реки Окони<sup>3</sup>,  
 Янки-промышленник, я пробиваю себе в жизни дорогу,  
 У меня самые гибкие в мире суставы и самые крепкие в мире  
 суставы,  
 Я кентуккиец, иду по долине Элхорна<sup>4</sup> в сапогах из оленьей  
 кожи, я житель Луизианы или Джорджии,  
 Я лодочник, пробираюсь по озеру или по заливу, или вдоль  
 морских берегов, я гушер, я бэджер, я бэкай<sup>5</sup>,  
 Я — дома на канадских лыжах в чаще кустарника или с  
 рыбаками вблизи Фаундлэнда,  
 Я — дома на ледоходных судах, я мчусь с остальными под  
 парусом,  
 Я — дома на вермонтских холмах, и в мэнских лесах, и на  
 ранчо Техаса,  
 Я калифорнийцам товарищ и жителям свободного северо-  
 запада (мне по сердцу их большие просторы),

<sup>1</sup> Чатахучи — река, составляющая западную границу штата Джорджия; Альтомахо — река в том же штате.

<sup>2</sup> Эдобе — постройка из необожжённого кирпича.

<sup>3</sup> Окони — река в штате Джорджия.

<sup>4</sup> Элхорн — река в штате Небраска.

<sup>5</sup> Гушер — житель штата Индиана; бэджер — житель штата Висконсин; бэкай — уроженец штата Огайо.

Я товарищ плотовщикам и угольщикам, всем, кто пожимает  
мне руку, кто делит со мною еду и питьё;  
Я ученик невежд, я учитель мудрейших,  
Я только что начал ученье, но я учусь мириады веков,  
Я всех цветов и всех каст, все веры и все ранги — мои,  
Я фермер, джентльмен, мастеровой, художник, матрос,  
Арестант, мечтатель, буян, адвокат, священник, врач.

Я готов бороться с чем угодно, только не с моей  
переменчивостью,  
Я вдыхаю в себя воздух, но оставляю много за собой,  
Я не чванный и знаю своё место.

(Моль и рыба икра на своём месте,  
Яркие солнца, которые вижу, и тёмные солнца, которых не  
вижу, — на своём месте,  
Осязаемое на своём месте и неосязаемое на своём месте.)

## 17

Это поистине мысли всех людей, во все времена, во всех  
странах, они родились не только во мне,  
Если они не твои, а только мои, они ничто или почти ничто,  
Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,  
Если они не вблизи от тебя и не вдали от тебя, они ничто.

Это трава, что повсюду растёт, где есть земля и вода,  
Это воздух для всех одинаковый, омывающий шар земной.

## 18

С шумной музыкой иду я, с барабанами и трубами,  
Не одним лишь победителям я играю мои марши, но и тем,  
кто побеждён, кто убит.

Ты слышал, что хорошо победить?  
Говорю тебе, что пасть—это так же хорошо; это всё равно—  
разбить или быть разбитым.

Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов,  
О, трубите, мои трубы, веселее и звончей.

Слава тем, кто побеждён!  
Слава тем, у кого боевые суда потонули,  
И тем, кто потонули и сами.



Исследовав земные пласты, всё до волоска изучив,  
посоветовавшись с докторами и сделав самый  
точный подсчёт,

Я не нахожу более сладкого мяса, чем то, что у меня на  
костях.

Во всех людях я вижу себя, ни один из них не больше меня  
и не меньше, даже на ячменное зерно,

И добрые и злые слова, которые я говорю о себе, я говорю  
и о них.

Я знаю, я прочен и крепок,

Все предметы вселенной стекаются отовсюду ко мне,

Все они записаны за мною, и по этой записи я получу сполна.

Я знаю, что я бессмертен,

Я знаю, что вот эта моя орбита не может быть измерена  
циркулем плотника.

Я знаю, что я священен,

Я не стану беспокоить мою душу, чтобы она за меня  
заступилась или разъяснила меня,

Я вижу, что законы природы никогда не просят извинений

(В конце концов я веду себя не более заносчиво, чем  
ватерпас, которым я измеряю мой дом).

Я существую такой, как я есть, и не жалуясь,

Если этого не знает никто во вселенной, я сижу без печали,

А если знают все до одного, я сижу без печали.

Та вселенная, которая знает, для меня она больше всех, и

эта вселенная — я,

И добьюсь ли я победы сегодня или через десять тысяч или  
через десять миллионов лет,

Я с радостью приму её сегодня, и с такой же радостью я могу  
подождать.

Мои ноги крепко вделаны в пазы гранита,

Я смеюсь над тем, что зовётся у вас растворением,

И я знаю широту времён. \*

## 21

Я поэт Тела, и я поэт Души,

Радости рая во мне, мучения ада во мне,

Радости я прививаю себе и умножаю в себе, а мучениям я  
даю новый язык.



Море, холмисты и длинны твои берега,  
Море, широко и конвульсивно ты дышишь,  
Море, ты жизни соль, но вечно открыты могилы твои,  
Ты бурь завыватель и взбалтыватель, капризное, нежное  
море,  
Море, я похож на тебя, я тоже одно и всё.

Во мне и прилив и отлив, я певец примирения и злобы,  
Я воспеваю друзей и тех, кто спят друг у друга в объятьях.

Я тот, кто всюду прозревает любовь.

(Разве я сделаю список домашних вещей и перешагну через  
дом, в котором хранятся они?)

Я не только поэт добра, я непрочь быть поэтом зла.

Что это там болтают о добре и о зле?

Зло меня движет вперёд, и уничтожение зла меня движет  
вперёд, я стою равнодушный,

Поступь моя не такая, как у того, кто находит изъяны, или  
отвергает хоть что-нибудь в мире,

Я поливаю корни всего, что взросло.

Или очуметь вы боитесь от этой неустанной беременности?

Или, по-вашему, плохи законы вселенной и их надобно сдать  
в починку?

Я же знаю, эта сторона в равновесии, и другая сторожа в  
равновесии.

Эта минута добралась до меня после миллиарда других,  
лучше её нет ничего.

И это не чудо, что столько прекрасного было и есть среди  
нас,

Гораздо чудеснее чудо, что могут среди нас появляться и  
негодяй и неверный.

## 24

Я Уолт Уитман, я космос, я сын Манхаттана,

Буйный, дородный, чувственный, пьющий, едящий,

рождающий,

Не слишком чувствителен, не ставлю себя выше других или  
в стороне от других,

И бесчинный и чинный равно.

Прочь затворы дверей!  
И самые двери долой с косяков!

Кто унижает другого, тот унижает меня,  
И всё, что сделано, и всё, что сказано, под конец возвращается  
ко мне.

Сквозь меня вдохновение проходит волнами, волнами, сквозь  
меня поток и откровение.

Проходя, я говорю мой пароль, я даю знак демократии,  
Клянусь, я не приму ничего, что досталось бы не всякому  
поровну.

Сквозь меня так много немых голосов,  
Голоса несметных поколений рабов и колодников,  
Голоса больных и отчаявшихся, и воров, и карликов,  
Голоса циклов подготовки и роста,  
И нитей, связующих звёзды, и женских маток, и влаги  
мужской,

И прав, принадлежащих унижённому,  
Голоса дураков, калек, плоскодушных, презренных, пошлых,  
Во мне и воздушная мгла, и жучки, катящие навозные  
шарики.

Сквозь меня голоса запретные,  
Голоса половых вожделений и похотей, с них я снимаю  
покров,  
Голоса разврата, очищенные и преображённые мною.

Я не зажимаю себе пальцами рот, с кишками я так же нежен,  
как с головою и сердцем,  
Совокупление у меня не в бóльшем почёте, чем смерть.

Верую в мясо и его аппетиты,  
Слух, осязание, зрение — вот чудеса, и чудо — каждый  
отброс от меня.

Я божество и внутри и снаружи, всё становится свято, чего  
ни коснусь,  
Запах пота у меня подмышками ароматнее всякой молитвы,  
Эта голова превышает всех библий, церквей и вер.

Если и чтить одно больше другого, так пусть это будет моё  
тело или любая частица его,  
Прозрачная форма моя, пусть это будешь ты!

Затенённые подпорки и выступления, пусть это будете вы!  
Крепкий мужской резак, пусть это будешь ты!  
Всё, что вспашет и удобрит меня, пусть это будешь ты!  
Ты моя богатая кровь! Молочные, струистые, бледные  
волокна моего бытия!  
Грудь, которая прижимается к другим грудям, пусть это  
будешь ты!  
Мозг, пусть это будут твои непостижимые извилины!  
Корень мокрого аира! пугливый кулик! гнездо, где двойные,  
бережно хранимые яйца! пусть это будете вы!  
Вихрастое спутанное сено волос, борода, мышцы, пусть это  
будете вы!  
Переливчатые соки клёна, фибры мужской пшеницы, пусть  
это будете вы!  
Солнце, такое щедрое, пусть это будешь ты!  
Пары, озаряющие моё лицо и темнящие, пусть это будете вы!  
Потные потоки и робы, пусть это будете вы!  
Ветры, чьи детородные части нежно щекочут меня, пусть это  
будете вы!  
Мускулистая ширь полей, ветки живого дуба, любящий  
бродяга по моим кривым перепутьям, пусть это  
будете вы!  
Руки, что я пожимал, лицо, что я целовал, всякий смертный,  
кого я только коснулся, пусть это будете вы!

О, я стал бредить собою, вокруг так много меня, и такого  
сладкого,  
Каждая минута, какова бы она ни была, во мне вызывает  
радость,  
Я не в силах сказать, как сгибаются лодыжки моих ног и  
в чём причина моего малейшего желанья,  
В чём причина той дружбы, которую я излучаю, и той,  
которую получаю взамен.

Я поднимаюсь к себе на крыльцо и останавливаюсь, чтобы  
подумать, верно ли, что оно существует,  
Утренняя заря, что сверкает в окне, для меня больше, чем  
метафизика книг.

Увидеть зарю!  
Маленький проблеск света заставляет увянуть огромные и  
прозрачные тени.  
Воздух так приятен на вкус...

Страшное, яркое солнце, как быстро ты убило бы меня,  
Если б во мне самом не всходило такое же солнце.

Мы тоже восходим, как солнце, такие же страшные, яркие,  
Своё мы находим, о душа, в прохладе и покое рассвета.

Моему голосу доступно и то, куда не дотянуть моим глазам,  
Когда я верчу языком, я обнимаю миры и миллионы миров.

Зрение и речь — близнецы, речь не измеряется речью,  
Она всегда глумится надо мной, она говорит, издеваясь:  
*Уолт, ты содержишь немало, почему ты не дашь этому  
выйти наружу?*

Ну, довольно издеваться надо мною, слишком много  
придаёшь ты цены произнесению слов,  
Разве ты не знаешь, о речь, как образуются под тобою  
бутоны?

Как они ждут во мраке, как защищает их стужа?

Ни писание, ни речь не утверждают меня,  
Всё, что утверждает меня, выражено у меня на лице,  
И когда мои губы молчат, они посрамляют неверных.

Я верю, что листик травы не меньше подёнщины звёзд,  
И что не хуже их муравей, и песчинка, и яйцо королька,  
И что древесная жаба — шедевр, выше которого нет,  
И что черника достойна быть украшением небесных гостиных  
И что тончайшая жилка у меня на руке есть насмешка над  
всеми машинами,  
И что корова, понуро жующая жвачку, превосходит любую  
статую,  
И что мышь — это чудо, которое может одно пошатнуть  
секстильоны неверных.

Во мне и гнейс, и уголь, и длинные нити мха, и плоды,  
и зёрна, и корни, годные в пищу,  
Четвероногими весь я доверху набит, птицами весь я начинён,  
И хоть я не спроста отдалился от них,  
Но стоит мне захотеть, я могу позвать их обратно.

Пускай они таятся или убегают,  
Пускай огнедышащие горы шлют против меня свой старый  
огонь,



Ноздри у него раздуваются, когда мои ноги обнимают его,  
Его тело дрожит от счастья, когда мы мчимся кругом и назад.

Но минута, и я отпускаю тебя, жеребец,  
К чему мне твои быстрые скачки, если мой галоп быстрее  
твоего?

Даже когда я сижу или стою, я обгоняю тебя.

### 33

Пространство и Время! теперь-то я вижу, что я не ошибся,  
Когда лениво шагал по траве,  
Когда одиноко лежал на кровати,  
Когда бродил по побережью под бледнеющими звёздами  
утра.

Мои цепи и баласты спадают с меня, локтями я упираюсь  
в морские пучины,  
Я обнимаю сиерры, я ладонями покрываю всю сушу,  
Я иду, и со мной мои зрелища.

У городских четырёхугольных домов, в деревянных лачугах,  
поселившись в лесу с дровосеками,  
Вдоль дорог, изборождённых колеями, у застав, вдоль  
высохших рытвин и обмелевших ручьёв,  
Очищая от сорной травы лук на огородной гряде, или копая  
пастернак и морковь, пересекая саванны, идя по  
звериным следам,  
Делая разведки, измеряя верёвкой стволы на новокупленном  
участке земли,  
Обжигая ноги горячим песком, таща бечевой мою лодку  
вниз по обмелевшей реке,  
Где пантера снуёт над головою по сучьям, где охотника  
бешено бодает олень,  
Где гремучая змея нежит под солнцем свою вялую длину на  
скале, где выдра глотает рыбу,  
Где алигатор спит у канала, весь в затверделых прыщах,  
Где рыщет чёрный медведь в поисках корней или мёда, где  
бобр стучит по болоту веслообразным хвостом,  
Над растущим сахаром, над жёлтыми цветами хлопка, над  
рисом в низменных, мокрых полях,  
Над островерхой фермой, над зубчатыми кучами шлака, над  
хилою травой в канавах,  
Над западным персимоном<sup>1</sup>, над кукурузой с длинными  
листами, над нежными, голубыми цветочками льна,

<sup>1</sup> Персимон — американская порода чёрного дерева.

Над белой и бурой гречихой (там я жужжу, как другие),  
 Над тёмною зеленью ржи, когда от лёгкого ветра по ней  
 бегут струйки и тени,  
 Взбираясь на горные кручи, осторожно подтягивая себя,  
 хватаясь за низкие, тощие сучья,  
 Шагая по тропинке, протоптанной в травах, или сквозь листву  
 кустарника,  
 Где перепёлка кричит между опушкой и пшеничным полем,  
 Где в вечер Седьмого месяца носится в воздухе летучая  
 мышь, где большой золотой жук падает на землю  
 во тьме,  
 Где из-под старого дерева выбивается ключ и сбегает  
 в долину,  
 Где быки и коровы стоят и смахивают мух движеньем  
 дрожащей шкуры,  
 Где в кухне повешена ткань для сыров, где таганы  
 раскорячились на очаге, где паутина свисает  
 гирляндами с балок,  
 Где звякают тяжёлые молоты, где типографская машина  
 вращает цилиндры,  
 Где человеческое сердце в страшной судороге бьётся за  
 рёбрами,  
 Где воздушный шар, подобный груше, взлетает вверх (он  
 поднимает меня, я смотрю, не волнуясь, вниз),  
 Где лодочка привязана к шару крепкими морскими узлами,  
 где солнечный зной, как наседка, греет зеленоватые  
 яйца, зарытые в зубчатый песок,  
 Где плавает самка кита, не отставая ни на миг от детёныша,  
 Где пароход развеивает вслед за собой длинное знамя дыма,  
 Где плавник акулы торчит из воды, словно чёрная щепка,  
 Где мечется полуобугленный бриг по незнакомым волнам,  
 Где ракушки растут на его тинистой палубе, где в трюме  
 гниют мертвецы,  
 Где несут во главе полков густо усеянный звёздами флаг<sup>1</sup>,  
 Приближаясь к Манхаттану по длинному узкому острову<sup>2</sup>,  
 Под Ниагарой, что, падая, лежит, как вуаль, у меня на лице,  
 На ступеньке у двери, на крепкой колоде, которая стоит на  
 дворе, чтобы всадник мог сесть на коня,  
 На скачках, или на весёлых пикниках, или отплясывая джигу,  
 или играя в безбол,  
 На холостых попойках с похабными шутками, с крепким  
 словом, со смехом, с матросскими плясками,

<sup>1</sup> Национальный флаг США.

<sup>2</sup> Длинный узкий остров — Лонг Айленд, родина Уолта Уитмана.

У яблочного пресса, пробуя сладкую бурую гущу, потягивая  
 сок через соломинку,  
 На сборе плодов, где за каждое красное яблоко, которое я  
 нахожу, мне надлежит получить поцелуй,  
 На военных смотрах, на прогулках по берегу моря, на  
 сходках у веялки, на постройке домов,  
 Где дрозд-пересмешник разливается сладкими трелями,  
 плачет, визжит и гогочет,  
 Где стог стоит на гумне, где разостлано сено, где корова  
 ждёт под навесом,  
 Где бык уж идёт совершить свою мужскую работу, и жеребец  
 к кобыле, где за курицей шагает петух,  
 Где тёлки пасутся, где гуси хватают короткими хватками  
 пищу,  
 Где от закатного солнца тянутся тени по безлюдной,  
 безграничной прерии,  
 Где стадо буйволов покрывает собою землю на квадратные  
 мили вдали и вблизи,  
 Где пташка колибри сверкает, где шея долговечного лебедя  
 изгибается и извивается,  
 Где смеющаяся чайка летает у берега и смеётся почти  
 человеческим смехом,  
 Где улья стоят в саду, как солдаты, на бурой скамейке,  
 полузаросшие буйной травой,  
 Где куропатки, с воротниками на шее, уселись в кружок на  
 земле, головами наружу,  
 Где погребальные дроги въезжают в сводчатые ворота  
 кладбища,  
 Где зимние волки лают среди снежных просторов и  
 обледенелых деревьев,  
 Где цапля в жёлтой короне пробирается ночью к краю болот  
 и глотает маленьких крабов,  
 Где всплески пловцов и ныряльщиков охлаждают горячий  
 полдень,  
 Где кати-дид<sup>1</sup> играет свою хроматическую гамму над ручьём  
 на каштановом дереве,  
 По рощам лимонов, по грядкам огурцов с серебряными нитями  
 листьев,  
 По солончаку, по апельсиновой аллее или под остроконечными  
 слями,  
 Через гимназий<sup>2</sup>, через салун<sup>3</sup> с занавесками, через контору  
 или через общественный зал,

<sup>1</sup> К а т и - д и д — американский кузнечик.

<sup>2</sup> Г и м н а з и й — зал для гимнастических упражнений.

<sup>3</sup> С а л у н — кабак.

Довольный родным и довольный чужим, довольный новым  
 и старым,  
 Радуюсь встрече с некрасивою женщиною, так же как и с  
 красивою женщиною,  
 Радуюсь, что вот вижу квакершу, как она шляпку сняла и  
 говорит мелодично,  
 Довольный пением хора в только что выбеленной церкви,  
 Довольный горячей речью вспотевшего методистского  
 пастора, сильно взволнованный общей молитвой  
 на воздухе,  
 Глядя всё утро в витрины Бродвея<sup>1</sup>, носом прижимаясь к  
 зеркальному стеклу,  
 А после полудня шатаюсь весь день по просёлкам или по  
 берегу моря с закинутым в небо лицом,  
 Обхватив рукою товарища, а другою — другого, а сам  
 посередине,  
 Возвращаясь домой с молчаливым и смуглым бушбоем<sup>2</sup>  
 (в сумерках он едет за мной на коне),  
 Вдали от людских поселений, идя по звериным следам или по  
 следам мокассинов,  
 У больничной койки, подавая лихорадящим больным лимонад,  
 Над покойником, лежащим в гробу, когда всё вокруг тихо,  
 всматриваясь в него со свечой,  
 Отплывая в каждую гавань за товарами и приключениями,  
 В шумной толпе, впопыхах, я такой же ветреный и горячий,  
 как все,  
 Готовый в ярости пырнуть врага ножом,  
 В полночь, лёжа без мыслей в одинокой камерке на заднем  
 дворе,  
 Блуждая по старым холмам Иудей бок о бок с прекрасным  
 и нежным богом,  
 Пролетая в мировой пустоте, пролетая в небесах между  
 звёзд,  
 Пролетая среди семи сателлитов, сквозь широкое кольцо и  
 диаметр в восемьдесят тысяч миль,  
 Пролетая меж хвостатых метеоров и, подобно им, оставляя  
 за собою вереницу огненных шаров,  
 Нося с собою месяц-младенца, который во чреве несёт свою  
 полнолунную мать,  
 Бушуя, любя и радуясь, предостерегая, задумывая, пятась,  
 выползая, появляясь и вновь исчезая,  
 День и ночь я блуждаю такими тропами.

<sup>1</sup> Бродвей — самая многолюдная улица в Нью-Йорке.

<sup>2</sup> Бушбой — молодой колонист, живущий в местности, ещё не очищенной от кустарников.

Я посещаю сады планет и смотрю, хорошо ли растёт,  
Я смотрю квинтильоны созревших и квинтильоны незрелых.

Я летаю такими полётами текучей и глотающей души,  
До той глубины, где проходит мой путь, никакой лот не  
достанет,

Я глотаю и дух, и материю,  
Нет такого сторожа, который мог бы протнать меня, нет  
такого закона, который мог бы препятствовать мне.

Я бросаю якорь с моего корабля лишь на короткое время,  
Мои посланные спешат от меня на разведки или  
возвращаются ко мне с донесениями.

С острой рогатиной я иду на охоту за тюленем и белым  
медведем, прыгая через глубокие расселины, я  
хватаюсь за ломкие синие льдины,

Я взбираюсь на переднюю мачту,

Я влезаю в бочонок для вахты,

Мы плывём по северному морю, много света кругом,

Воздух прозрачен, я смотрю на изумительную красоту,

Необъятные ледяные громады плывут мимо меня, и я плыву  
мимо них, всё отчётливо видно вокруг,

Вдали беловерхие горы, навстречу им летят мои мечты,

Мы приближаемся к полю сражения, скоро мы вступим  
в бой,

Мы проходим мимо аванпостов грандиозного лагеря, мы  
проходим осторожно и медленно,

Или мы входим в большой и разрушенный город,

Развалины зданий и кварталы домов больше всех живых  
городов на земле.

Я вольный стрелок, мой бивак у костров, что вторглись в  
чужую страну,

Я гоню из постели мужа, я сам остаюсь с новобрачной,

И всю ночь прижимаю её к своим бёдрам и к своим губам.

Мой голос есть голос жены, её крик у перил на лестнице,

Труп моего мужа несут ко мне, с него каплет вода, он —  
утопленник.

Я понимаю широкие сердца героев,

Нынешнюю храбрость и храбрость всех времён,

Как шкипер увидел разбитое судно, в нём люди, оно без  
руля, и Смерть во всю бурю гналась за ним, как  
охотник,

Шкипер пустился за судном, не отставая от него ни на шаг,  
днём и ночью верный ему,

И мелом написал на борту: «Крепитесь, мы вас не  
покинем»,

Как он носился за ними и лавировал вслед за ними, и  
упорно добивался своего,

Как он спас, наконец, дрейфовавших людей,

Что за вид был у дряблых женщин в обвислых платьях,  
когда их увозили на шлюпках от развёрстых  
перед ними могил,

Что за вид у молчаливых младенцев со стариковскими лицами  
и у небритых острогубых мужчин,

Я это глотаю, мне это по вкусу, мне нравится это, я это  
впитал в себя,

Я человек, я страдал вместе с ними.

Надменность и спокойствие мучеников,

Женщина старых времён, уличённая ведьма, горит на сухом  
костре, а дети её стоят и глядят на неё,

Загнанный раб, весь в поту, изнемогший от бега, пал на  
плетень отдышаться,

Судороги колют его ноги и шею иголками, смертоносная  
дробь и ружейные пули,

Эти люди — я, и их чувства — мои.

Я — этот загнанный раб, это я от собак отбиваюсь ногами,

Вся преисподняя следом за мною,

Щёлкают, щёлкают выстрелы,

Я за плетень ухватился, мои струпья сцарапаны, кровь  
сочится и каплет,

Я падаю на камни, в бурьян,

Лошади запряжились, верховые кричат, понукают их,

Уши мои, как две раны от этого крика,

И вот меня бьют с размаху по голове кнутовищами.

Предсмертные судороги я меняю, как меняют одежду,

У раненого я не пытаю о ране, я сам становлюсь тогда  
раненым,

Мои синяки багровеют, пока я стою и смотрю, опираясь на  
лёгкую трость.



Теперь расскажу, что я мальчиком слышал в Техасе.  
(Нет, не о падении Аламо<sup>1</sup>:

Некому рассказать о падении Аламо,

Все были убиты в Аламо,

Все сто пятьдесят человек бессловесны в Аламо.)

Это повесть о холодном убийстве четырёхсот двадцати  
молодых человек.

Отступая, они образовали каре, их пожитки служили им  
брустверами.

Враги окружили их, девятьсот жизней отняли они у врагов,  
их самих было в девять раз меньше,

Их полковник был ранен, у них не осталось патронов,

Они одались на почётных условиях, получили бумагу  
с печатью, сдали оружие и как военнопленные  
отправились в тыл.

Это были лучшие из техасских ковбоев.

Первые на коне, в стрельбе, в пеньи, на пирушках, в любви,

Буйные, рослые, щедрые, красивые, гордые, любящие,

Бородатые, обожжённые солнцем, одетые привольно,

по-охотничьи,

И ни одному из них не было за тридцать.

На второй день в воскресенье их вывели повзводно и стали  
убивать одного за другим, стояло красивое  
весеннее утро.

Работа началась в пять часов и к восьми была кончена.

Им скомандовали: на колени! но ни один не подчинился  
команде.

Иные безумно и беспомощно рванулись вперёд, иные  
оцепенели и стояли навытяжку.

Иные упали сразу с простреленным виском или сердцем,  
живые и мёртвые в куче,

Недобитые раненые скребли землю ногтями, вновь  
приводимые смотрели на них.

Полумёртвые пытались уползти.

Их прикончили штыком или прикладом.

<sup>1</sup> В марте 1836 г. мексиканцы захватили техасскую крепость Аламо (близ Сан-Антонио) и уничтожили весь её гарнизон из 183 человек. Через несколько дней они взяли в плен отряд капитана Фэннина около четырёхсот человек и истребили всех. В то время Уолту Уитману было 17 лет.

Подросток, ещё не достигший семнадцати лет, так обхватил одного из убийц, что понадобилось два человека, чтобы спасти того.

Мальчик изодрал их одежду и всех троих облил своею кровью.

В одиннадцать часов началось сожжение трупов.

Таков мой рассказ об убийстве четырехсот двадцати молодых человек.

### 35

Хочешь послушать, как дрались в старину на морях?

Хочешь узнать, кто выиграл сражение при свете луны и звёзд?

Послушай же старинную быль, что рассказывал мне отец моей бабки, моряк<sup>1</sup>.

Враг у нас был не трус, даю тебе честное слово (так говорил он),

Несокрушимой и хмурой английской породы, нет и не было упрямее их, и не будет вовек.

Когда вечер спустился на воду, он подошёл к нам вплотную и начал бешено палить вдоль бортов.

Мы сцепились с ним, у нас перепутались реи, можно было дотронуться до вражьиx орудий,

Мой капитан крепко принайтовал нас своими руками.

В подводной части мы получили пробоины восемнадцатифунтовыми ядрами,

На нижнем деке у нас после первого залпа сразу взорвались два орудия большого калибра, убили всех, кто стоял вокруг, и взрывом разнесли всё наверху.

Мы дрались на закате, мы дрались в темноте,

Вечер, десять часов, полная луна уж довольно высоко, в наших пробоинах течь всё растёт, и доносят, что вода поднялась на пять футов.

Комендант выпускает пленных, посаженных в трюм под кормой, пусть спасаются, если удастся.

Часовые у склада снарядов теперь уже не подпускают никого.

Они видят столько чужих, что не знают, кому доверять.

<sup>1</sup> Капитан Джон Вильямс.

На нашем фрегате пожар,  
Враг спрашивает, сдаёмся ли мы.  
Спустили ли мы штандарт и кончен ли бой?

Тут я смеюсь, довольный, потому что мне слышится голос  
моего малютки-капитана.  
«Мы не спускали штандарта,— кричит он спокойно,— мы  
лишь теперь начинаем сражаться».

У нас три неразбитых орудия,  
За одним стоит сам капитан и наводит его в грот-мачту  
врага,  
Два другие богаты картечью и порохом, и они приводят  
к молчанию мушкеты врага и подметают его  
палубы дочиста.

Этой маленькой батарее вторят одни только марсы, и  
больше всего прот-марс,  
Они геройски держатся до конца всего боя.

Нет ни на минуту передышки,  
Течь опережает работу насосов, огонь подбирается  
к пороховому складу.

Один из насосов сбит ядром, и все думают, что мы уже  
тонем.

Невозмутимый стоит малютка-капитан,  
Он не суетится, голос его не становится ни громче, ни тише,  
Его глаза дают нам больше света, чем наши боевые фонари.

Около двенадцати часов, при сиянии луны, они сдаются нам.

## 36

Широко разлеглась молчаливая полночь,  
Два огромных корпуса недвижны на груди темноты,  
Наше судно, всё продырявленное, тихо идёт ко дну, мы  
готовимся перейти на захваченный нами фрегат,  
Капитан, стоящий на шканцах, холодно отдаёт команду  
сквозь белое, как простыня, лицо.  
Поблизости труп ребёнка, который был прислужником  
в каюте.

Мёртвое лицо старика-морехода с длинными седыми  
волосами и тщательно завитыми баками.

Пламя, что, наперекор всем усилиям, попрежнему пылает  
внизу и на палубе,  
Хриплые голоса двух или трёх офицеров, ещё способных  
сражаться,  
Бесформенные груды мертвецов и мертвецы в одиночку,  
кочья мяса на мачтах и реях,  
Обрывки такелажа, повисшие снасти, лёгкое содрогание от  
ласки волн,  
Чёрные, бесстрастные орудия, там и сям пороховые тюки,  
сильный запах,  
Редкие крупные звёзды вверху, мерцающие молчаливо и  
скорбно,  
Лёгкие дуновения бриза, ароматы осоки и прибрежных  
полей, поручения, которые дают умирающие тем,  
что остаются в живых,  
Свист ножа в руках у хирурга, вгрызающиеся зубья его  
пилы,  
Хрип, сопение, кудахтание раненых, клёкот хлынувшей  
крови, дикий короткий визг и длинный, нудный,  
заостряемый вскриком стон,  
Всё это так безвозвратно.

37

Вы, лодыри, там на карауле! скорей за оружие!  
Врываюся толпою в побеждённую дверь! О, я сошёл  
с ума!  
Я воплощаю в себе всех страдальцев и всех беззаконных,  
Я вижу себя в тюрьме в облике другого человека,  
Я чувствую тупую, безысходную боль.  
Это из-за меня тюремщики вскидывают на плечо карабины  
и стоят на часах,  
Это меня по утрам выпускают из камеры, а на ночь сажают  
за железный засов.  
К каждому мятежнику, что идёт в тюрьму в кандалах,  
я прикован рука к руке и шагаю с ним рядом  
(Я грустнее, чем он, я больше молчу, у меня пот на  
искажённых губах).  
И вместе с каждым воришкой, которого хватают за кражу,  
хватают и меня, и судят меня вместе с ним, и  
выносят мне такой же приговор.

И с каждым холерным больным, который сейчас умрёт, я  
лежу и умираю заодно.  
Лицо моё стало серым, как пепел, мускулы мои вздуваются  
узлами, люди убегают от меня.

Попрошайки в меня воплощаются, я воплощаюсь в них,  
Я конфузливо протягиваю шляпу, я сижу и прошу подаяния.

### 39

Дружелюбный и покладистый дикарь, кто же он?  
Ждёт ли он цивилизации или прошёл сквозь неё и теперь  
господствует над ней?

Может быть, он с юго-запада, и возвращён под открытым  
небом?

Или, может быть, он канадец?  
Может быть, он с Миссисипи? Из Айовы, Орегона,  
Калифорнии?  
Или горец? или житель лесов? или прерий? или с моря  
матрос?

Куда бы он ни пошёл, мужчины и женщины принимают  
и желают его,  
Они желают, чтобы он полюбил их, притронулся к ним,  
разговаривал с ними, остался бы с ними жить.

Поступки, незаконные, как снежные хлопья, и слова  
простые, как трава, непричёсанность, смех и наивность.  
Медленный шаг, лицо, как у всех, заурядные манеры  
и изливания токов,  
Они, преобразуясь, исходят с концов его пальцев,  
Они идут от него с запахом его тела и дыханья, они  
истекают из взора его глаз.

### 40

Сусальное солнце, проваливай,— не нуждаюсь в твоей  
тёпленькой ласке!  
Ты лишь верхи озаряешь, а я добираюсь до глубин.

Земля! ты будто за подачкою смотришь мне в руки,  
Скажи, старая карга, что тебе нужно?

Мужчина или женщина, я мог бы сказать вам, как я люблю  
вас, но я не умею,  
Я мог бы сказать, что во мне и что в вас, но я не умею,  
Я мог бы сказать, как томлюсь я от горя и какими пульсами  
бьются мои ночи и дни.

Видите, я не читаю вам лекций, я не подаю вам мелочи,  
Когда я даю, я даю себя.

Эй ты, импотент с развинченными коленями,  
Открой замотанную тряпками глотку, я вдую в тебя песок,  
и ты станешь сильней,  
Шире держи ладони и вздёрни клапаны у себя на карманах,  
От моих подарков отказаться нельзя, я даю их насильно,  
у меня большие запасы, с избытком,  
И я отдаю всё, что имею.

Я не спрашиваю, кто ты, это для меня всё равно,  
Ведь ты ничто, и у тебя нет ничего, пока ты не станешь  
тем, что я вложу в тебя.

Меня тянет к рабу на хлопковых полях или к тому, кто  
чистит отхожие места,

Я целую его по-семейному в правую щёку,  
И в сердце своём я клянусь, что никогда не отрину его.

Женщины, пригодные к зачатию, отныне станут рожать от  
меня более крупных и смыслёных детей,  
(То, что я вливаю в них сегодня, станет самой горделивой  
республикой).

Если кто помирает, я спешу туда и крепко нажимаю ручку  
двери,

Отверните одеяло и простыни к ногам,  
А врач и священник пусть уходят домой.

Я хватаю того, кто тонет, и поднимаю его с несокрушимым  
упорством,

Ты, отчаявшийся, вот моя шея,  
Клянусь, тебе не приведётся утонуть! всей тяжестью  
повисни на мне.

Колоссальным дыханием я надуваю тебя, и вот ты раздулся  
и всплываешь вверх, как бакан,  
Каждую комнату в доме я наполняю войсками,  
Теми, кто любят меня, теми, кто побеждают могилы.

Спи,— я и они будем всю ночь на страже,  
Ни сомнение, ни боль пальцем не тронут тебя,  
Я обнял тебя, и отныне ты мой,  
И, вставши завтра утром, ты увидишь, что всё так и есть,  
как я говорил тебе.

41

Я тот, кто приносит облегчение больным, когда они, задыхаясь,  
лежат на спине,  
И сильным, твёрдо стоящим мужчинам я приношу ещё более  
нужную помощь.

Я слышал, что было говорено о вселенной.  
Слышал и слышал о множестве тысяч лет,  
Это, пожалуй, неплохо, но разве это всё?

Я прихожу, увеличивая и находя соответствия,  
Я с самого начала даю бóльшую цену, чем старые  
сквалыги-торгаши,  
Я сам принимаю размеры Еговы,  
Я литографирую Кроноса, его сына Зевеса и его внука  
Геракла,  
Я скупаю векселя Озириса, Изиды, Ваала, Браммы  
и Будды,  
В мой портфель я сую Манито<sup>1</sup>, и Аллаха на бумажном  
листе и гравюру распятия.  
Вместе с Одним, с отвратительнолицым Мекситли<sup>2</sup> и с  
каждым идолом, с каждым фетишем,  
Давая за них столько, сколько они стоят, и ни одного цента  
больше,  
Соглашаясь, что они были живы и сделали свою работу  
в свой срок  
(Да, они принесли кое-что для неоперённых птенцов,  
которые должны теперь сами встать, полететь  
и запеть),  
Принимая черновые наброски всевозможных богов, чтобы  
заполнить их лучше собою,

<sup>1</sup> Манито — главное божество северо-американских индейцев.

<sup>2</sup> Мекситли — бог войны у ацтеков.

Щедро раздавая их каждому, и мужчине и женщине,  
Открывая столько же или больше божественности  
        в плотнике, который делает сруб,  
Требуя, чтобы перед ним преклонялись больше, чем перед  
        всеми богами, когда он, засучив рукава, стучит  
  по долоту молотком,  
Не споря, что бог посылал откровения, считая, что  
        ничтожный дымок или волосок у меня на руке  
        непостижны, как любое из них,  
Пожарные, качающие воду насосом или взбирающиеся по  
        верёвочной лестнице, для меня не менее, чем  
  боги античных сражений,  
Я слышу, как звенят их голоса сквозь грохот обвалов,  
Их мускулистые ноги несут их в целости над обугленной  
        дранкой, их белые лбы невредимы среди пламени;  
Перед женой машиниста, с младенцем у сосков, я молюсь  
        о каждом, кто родился на свет,  
Рядом свистят три косы на покосе в руках у дородных  
        ангелов со вздутыми на поясищах рубахами;  
Клякастый и рыжий конюх искупил все свои грехи,  
  настоящие и будущие,  
Когда распродал всё, что имел, и пошёл пешком заплатить  
        адвокатам, защищающим брата его, и сидел  
        рядом с ним, пока того судили за мошенничество.

И быку и клопу ещё не молились, как нужно,  
Никому и не снилось, как восхитительны грязь и навоз.  
Сверхъестественное — не такое уж чудо, я сам жду, чтобы  
        пришло моё время, когда я сделаюсь одним  
  из богов,  
Уже близится день для меня, когда я стану творить чудеса  
        не хуже, чем наилучшие из них,  
Клянусь глыбами жизни моей! Я уже становлюсь таким же  
  создателем,  
То и дело полагая себя в лоно теней, которые таятся в  
  засаде.

## 42

Чей-то призыв из толпы,  
Мой собственный голос, звонкий, вихревой, завершающий.

Придите, мои дети,  
Придите, мои мальчики и девочки, мои женщины, мои  
  домочадцы и близкие,  
Органист уже разжигает свой пыл, он сыграл уже прелюдию  
  на свирелях.

Лёпкие и бойкие аккорды, я чувствую ваш высший подъём  
и финал.

Голову мою так и завертело на шее,  
Волнами катится музыка, но не из органа она,  
Люди окружают меня, но они не мои домочадцы.

Вечно твёрдая, неоседающая почва.  
Вечно те, что едят и пьют, вечно солнце то вверх, то вниз,  
вечно воздух, вечно неустанные приливы-отливы.  
Вечно старый, неизъяснимый вопрос, вечно этот палец  
с занозой,  
Вечно назойливый гик *улю-лю!* покуда мы не отыщем, где  
скрылся хитрец и не вытащим его на поверхность,  
Вечно любовь, вечно рыдающая влага жизни,  
Вечно повязка под нижней челюстью, вечно станок смерти.

Блуждают то там, то здесь, а глаза прикрыты медяками.  
Чтобы жадность брюха насытить, щедро черпают ложкой  
мозги,  
Покупают билеты, берут, продают, но на пир не попадают  
ни разу,  
Многие пашут, молотят, обливаются потом и мякину  
получают за труд,  
А немногие праздно владеют и вечно требуют, чтобы им  
дали пшеницу.

Это — город, и я — гражданин,  
Что занимает других, то занимает меня, политика, войны,  
рынки, газеты и школы,  
Городской голова, заседания, банки, тарифы, пароходы,  
заводы, акции, недвижности, движимости.

Малютки-манекены во множестве прыгают там и здесь  
в хвостатых пиджачках, в воротничках.  
Кто они, я знаю хорошо (нет, они не черви и не блохи),  
Я признаю в них моих двойников, самый пошлый и самый  
ничтожный так же бессмертен, как я,  
То, что я делаю и что говорю, то же самое ждёт и их,  
Всякая мысль, что бьётся во мне, бьётся точно так же  
и в них.

Не рутинные фразы — эта песня моя.  
Но внезапно задать вопрос, прыгнуть далеко за предел,  
и всё-таки привести ещё ближе;

Что эта печатная и переплетённая книга, как не наборщик и  
 типографский мальчишка?  
 И что эти прекрасные фото, как не ваша жена или друг, так  
 близко и устойчиво в ваших руках?  
 И что этот чёрный корабль, обитый железом, и его могучие  
 орудия в башнях, как не храбрость капитана и  
 его машинистов?  
 А посуда и мебель и угощение в домах — что они, как не  
 хозяин и хозяйка и взгляды их глаз?  
 И небо там наверху — всё же здесь, или рядом, или через  
 дорогу?  
 И что такое святые и мудрые, какие были в истории, как  
 не ты сам?  
 И что такое проповеди, богословия, религии, как не бездонный  
 человеческий мозг?  
 И что есть разум? и что есть любовь? и что жизнь?

### 43

Я не отвергаю вас, священники, никогда и нигде,  
 Величайшая вера — моя, и самая малая — моя,  
 Я вмещаю древнюю религию и новую, и ту, что между  
 древней и новой,  
 Я верю, что я снова приду на землю через пять тысяч лет,  
 Я ожидаю ответа оракулов, я чту богов, я кланяюсь солнцу,  
 Я делаю себе фетиша из первого камня или пня, я  
 шаманствую палками в волшебном кругу амулета,  
 Я помогаю ламе или брамину, когда тот поправляет  
 светильник перед кумиром,  
 В фаллическом шествии я танцую на улицах, я одержимый  
 гимнософист<sup>1</sup>, суровый, в дебрях лесов.  
 Я пью из черепа дикий мёд, я чту Веды<sup>2</sup>, я держусь  
 корана.  
 Я вхожу в теокалли<sup>3</sup> в пятнах крови от ножа и камня, я  
 бью в змеинокожий барабан,  
 Я принимаю евангелие, принимаю того, кто был распят,  
 я наверное знаю, что он божество,  
 Я стою всю мессу на коленях, я пуританин, я встаю для  
 молитвы или недвижно сижу на церковной  
 скамье,

<sup>1</sup> Гимнософисты — древние индусские философы, крайние мистики.

<sup>2</sup> Веды — древние религиозные книги индусов, написанные на санскрите.

<sup>3</sup> Теокалли — храм древней Мексики.

С пеной у рта, исступлённый, я бьюсь в припадке безумия  
или сижу мертвецом и жду, чтобы дух мой  
воспрянул,  
Я смотрю вперёд на мостовую, на землю или в сторону от  
мостовой и земли,  
Я из тех, что вращают колёса колёс.

Один из этой центростремительной и центробежной толпы  
я говорю, как говорит человек, оставляющий  
друзьям поручения, перед тем как отправиться  
в путь.

Упавшие духом, одинокие и мрачные скептики,  
Легкомысленные, унылые, злые, безбожники,  
Я знаю каждого из вас, я знаю море сомнения, тоски,  
неверия, отчаяния, муки.

Как плещутся камбалы!  
Как они бьются, быстро, как молния, со спазмами и струями  
крови!

Будьте спокойны, угрюмцы и окровавленные маловерные  
камбалы,  
Я ваш, я с вами, как и со всеми другими,  
И вас, и меня, и всех ждёт равное будущее.

Я не знаю, каково наше будущее,  
Но я знаю, что оно в свой черёд окажется вполне  
подходящим и что оно непременно придёт.

Оно уготовано всем: и тому, кто идёт, и тому, кто стоит,  
оно не обойдёт никого.

Оно суждено и тому молодому мужчине, который умер  
и похоронен в могиле,  
И той молодой женщине, которая умерла и погребена рядом  
с ним,  
И тому ребёнку, который глянул на миг из-за двери и  
скрылся за нею навеки,  
И тому старику, что прожил без цели и смысла и теперь  
томится в тоске, которая горше, чем жёлчь.  
И тому чахоточному, в убогой квартире, который заболел от  
разнузданной жизни и пьянства,  
И бесчисленным убитым и погибшим, и озверелым кобу<sup>1</sup>,  
именуемым навозом человечества,

<sup>1</sup> К о б у — дикари Новой Зеландии.

И ничтожным пузырькам, которые просто плывут по воде  
с открытыми ртами, чтобы пища вливалась им  
в рот,  
И всякому предмету на земле или в древнейших могилах  
земли.  
И всему, что в мириадах планет, и мириадам мириад,  
которые обитают на них,  
И настоящему, и самой маленькой горсти соломы.

44

Встанем — пора мне открыться!

Всё, что изведано, я отвергаю,  
Риньтесь, мужчины и женщины, вместе со мною  
в Неведомое.

Часы отмечают минуты, но где же часы для вечности?

Триллионы вёсен и зим мы уже давно истожили,  
Но в запасе у нас есть ещё триллионы и ещё и ещё  
триллионы.

Те, кто прежде рождались, принесли нам столько богатств,  
И те, кто родятся потом, принесут нам новые богатства.

Все вещи равны между собой: ни одна не больше и не меньше;  
То, что заняло своё место и время, таково же, как и всё  
остальное.

Люди были жестоки или завистливы к тебе, о мой брат,  
о моя сестра?

Я очень жалею тебя, но ко мне никто ни жесток, ни  
завистлив,

Всё вокруг было нежно ко мне, мне не на что жаловаться.  
(Поистине, на что же мне жаловаться?)

Я вершина всего, что уже свершено, я начало всего  
грядущего.

Я дошёл до верхних ступеней,  
На каждой ступени века, и между ступенями тоже века,  
Пройдя все, не пропустив ни одной, я карабкаюсь выше  
и выше.

Выше и выше иду, и призраки кланяются у меня за спиной,

Внизу, в глубине, я вижу <sup>изначальное</sup> большое Ничто, я  
знаю, что был и там,  
Невидимый, я долго там тайлся и спал в летаргической  
мгле,  
И вот я захватил моё время и не сгинул от углеродного  
смрада.

Долго трудилась вселенная, чтобы создать меня,  
Ласковы и преданны были те руки, которые направляли  
меня.

Вихри миров, кружась, носили мою колыбель, они гребли,  
и гребли, как лихие гребцы.  
Сами звёзды уступали мне место, вращаясь в своих кругах.

Покуда я не вышел из матери, поколения направляли мой  
путь,

Мой зародыш в веках не ленился,  
Ничто не могло задержать его.

Для него стусились в планету мировые туманности,  
Длинные пласты наслоялись, чтобы дать ему почву,  
Гиганты-растенья давали ему себя в пищу,  
И чудища-ящеры лелеяли его в своей пасти и бережно несли  
его дальше.

Все мировые силы трудились надо мною от века, чтобы  
создать и радовать меня,  
И вот я стою на этом месте со своею крепкою душою.

#### 45

О, мгновенная юность! о, гибкость, которую вечно  
толкают вперёд!  
О, уравновешенная, пышно цветущая зрелость!

Влюблённые в меня душат меня,  
Теснятся к моим губам, тискаются в поры моей кожи,  
Волокут меня по улицам и людным местам, голые приходят  
ко мне ночью,  
Днём они кричат мне: «Эгой!» со скалы над рекою, качаясь  
и щебеча наверху,  
Они кличут меня по имени из цветников, виноградников,  
из чащи густых кустов,  
Озаряют каждый миг моей жизни,  
Целуют моё тело поцелуями, нежащими, словно бальзам,  
И горсти своих сердец бесшумно дают мне в подарок.



Я знаю, что лучшее место — моё, и лучшее время — моё,  
ещё никто не измерил меня и никогда не измерит.

Я всегда налегке, в дороге (придите все и послушайте!),  
Мои знаменья — дождевой плащ и добрая обувь, и палка,  
срезанная в лесу,

Друзья не придут ко мне и не рассядутся в креслах,  
Кресел нет у меня, нет ни философии, ни церкви,  
Я никого не веду к обеду, в библиотеку, на биржу,  
Но каждого из вас, мужчин и женщин, я возвожу на  
вершину горы,

Левой рукой я обнимаю ваш стан,  
А правой рукой указываю на окрестные дали и на большую  
дорогу.

Ни я, ни кто другой не может пройти эту дорогу за вас,  
Вы должны пройти её сами.

Она далеко, она здесь, возле вас,  
Может быть, с тех пор как вы родились, вы уже бывали  
на ней, сами не зная о том,  
Может быть, она повсеместно на земле и воде.

Возьмём свои пожитки, мой сын, — ты свои, я свои — и  
поспешим в путь,  
Чудесные города и свободные страны мы понесём по пути.

Если ты устал, возложи на меня твою ношу, обопрись о моё  
бедро,  
А когда наступит мой черёд, ты отплатишь мне такой же  
услугой,  
Ибо с той минуты, как мы двинемся в путь, нам уже не  
случится прилечь.

Сегодня перед рассветом я взошёл на вершину горы и  
увидел кишашее звёздами небо,  
И сказал моей душе: *Когда мы овладеем всеми этими шарами  
вселенной, и всеми их уладами, и всеми их  
знаниями, будет ли с нас довольно?*

И моя душа сказала: *Нет, этого мало для нас, мы пойдём  
мимо — и дальше.*

Ты также задаёшь мне вопросы, и я слышу тебя,  
Я ответил, что я не в силах ответить, ты сам должен ответить  
себе.

Присядь на минуту, мой сын,  
Вот сухари для еды, вот молоко для питья,  
Но когда ты поспишь и обновишь свои силы, и наденешь  
лучшие одежды,  
Я дам тебе прощальный поцелуй и открою для тебя ворота,  
чтобы ты ушёл от меня.

Слишком долго тебе снились постыдные сны,  
Я смываю гной с твоих глаз,  
Ты должен приучить свои глаза к ослепительной яркости  
света и каждого мгновенья твоей жизни.

Слишком долго ты копошился у берега, робко держась за  
доску,  
Теперь я хочу, чтобы ты был бесстрашным пловцом,  
Чтобы ты вынырнул в открытом море, крича и кивая мне,  
и со смехом окунулся опять.

#### 47

Я учитель атлетов,  
Если твоя грудь после учения станет шире моей, ты докажешь,  
что и моя широка,  
И тот доставит величайшую почесть моему стилю борьбы, кто  
убьёт своего учителя насмерть.

Мне люб лишь такой мальчишка, что станет мужчиной не  
чужими стараньями, а по праву своей собственной силы,  
Он предпочтёт быть беспутным, лишь бы не стать  
благонравным из страха или стадного чувства,  
Свою милую любит он сильно и ест своё жаркое с аппетитом,  
Любовь без взаимности или обида режет его, как острая  
сталь,

Отлично он умеет скакать на коне, драться, стрелять в  
мишень, править парусным яликом, петь песни,  
играть на банджо,  
Бородатые лица или изрытые оспой, или с рубцами и  
шрамами милее ему, чем лощёные,  
И сильно загорелые лица милее ему, чем те, что держатся  
подальше от солнца.

Я учу убежать от меня, но кто может убежать от меня?  
Кто бы ты ни был, отныне я не отступлю от тебя ни на шаг,  
Мои слова зудят в твоих ушах, покуда ты не уразумеешь их  
смысла.

Не ради доллара я говорю тебе эти слова, не для того, чтоб  
заполнить минуты, покуда я жду парохода.  
(Они настолько же твои, как и мои, я действую в качестве  
твоего языка,  
У тебя во рту он опутан и связан, а у меня начинается  
освобождаться от пут.)

Клянусь, что под крышею дома я никогда ничего не скажу  
ни о любви, ни о смерти,  
И клянусь, я открою себя лишь тому или той, кто сблизится  
со мною на воздухе.

Если вы хотите понять меня, ступайте на гору или на берег  
моря,  
Ближайший комар — комментарий ко мне, и каждая капля —  
ключ,  
Молот, весло и ручная пила повторяют за мной мои речи.

Никакая комната с закрытыми ставнями, никакая школа не  
может общаться со мной,  
Бродяги и малые дети лучше уразумеют меня.

Молодой ремесленник всего ближе ко мне, он знает меня  
хорошо,  
Лесоруб, который берёт на работу свой топор и кувшин,  
возьмёт и меня на весь день,  
Фермер-подросток, что пашет в полях, чувствует себя  
хорошо, едва лишь заслышит мой голос.

На судах, которые мчатся под парусом, мчатся мои слова,  
я иду с матросами и с рыбаками и крепко люблю их.

Солдат в походе или в лагере — мой,  
Многие ищут меня в ночь перед боем, и я не обману их  
надежд,  
В эту величайшую ночь (быть может, их последнюю ночь)  
те, которые знают меня, ищут меня.

Моё лицо трётся о лицо зверолова, когда он лежит в  
одеяле,  
Извозчик, размышляя обо мне, не замечает толчков своей  
фуры,  
Молодая мать и старая мать понимают меня,  
И девушка и замужняя женщина оставляют на минуту иглу  
и забывают, в каком они месте,  
Все они хотят воплотить то, что я говорил им.



А ты, Труп, я думаю, ты хороший навоз, но это не обижает  
меня,

Я нюхаю белые розы, благоуханные, растущие ввысь,  
Я добираюсь до листовенных губ и до гладких грудей дынь.

А ты, Жизнь, я уверен, ты — остатки многих смертей  
(Не сомневаюсь, что прежде я и сам умирал десять тысяч  
раз).

Я слышу ваш шопот, о звёзды небес,  
О солнца, — о травы могил, — о вечные изменения и вечные  
продвижения вперёд,  
Если вы не говорите ничего, как же я могу сказать  
что-нибудь?

## 50

Есть во мне что-то — не знаю, что, — но знаю: оно во мне.

Тело моё, потное и скрюченное, каким оно становится  
спокойным тогда,  
Я сплю — я сплю долго.

Я не знаю его — оно безымянное — это слово, ещё не сказанное,  
Его нет ни в каком словаре, это не изречение, не символ.  
Нечто, на чём оно качается, больше земли, на которой  
качаюсь я,  
Для него весь мир — это друг, чьё объятие будит меня.

Может быть, я мог бы сказать больше. Только контуры!  
Я вступаюсь за моих братьев и сестёр.

Видите, мои братья и сёстры?

Это не хаос, не смерть — это порядок, единство, план — это  
вечная жизнь — это Счастье.

## 52

Пёстрый ястреб пронесётся мимо и упрекает меня, зачем  
я болтаю и мешкаю.

Я такой же дикий и невнятный,  
Я испускаю мой варварский визг над крышами мира.

Последнее облачко дня замедлилось ради меня,  
Оно соблазняет меня растаять в туман и пар.

Я улетаю, как воздух, я развеваю мои белые кудри вслед  
за бегущим солнцем,  
Пусть течёт моя плоть волнами, льётся, как зубчатое кружево.

Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей  
любимой травой,  
Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под  
подошвами.

Едва ли узнаешь меня, едва ли догадаешься, чего я хочу,  
Но всё же я буду для тебя добрым здоровьем,  
Я очищу и укреплю твою кровь.

Если тебе не удастся найти меня сразу, не падай духом,  
Если не найдёшь меня в одном месте, ищи в другом,  
Где-нибудь я остановился и жду тебя.

1855 г.

### О КАПИТАН! МОЙ КАПИТАН!<sup>1</sup>

О Капитан! мой Капитан! сквозь бурю мы прошли,  
Изведан каждый ураган, и клад мы обрели,  
И гавань ждёт, бурлит народ, колокола трезвонят,  
И все глядят на твой фрегат, отчаянный и грозный.

Но сердце! сердце! сердце!  
Кто кровью запятнал  
Ту дубу, где мёртвый  
Мой Капитан упал?

О Капитан! мой Капитан! ликуют берега.  
Вставай! Все флаги для тебя, тебе трубят рога.  
Тебе цветы, тебе венки, к тебе народ толпится,  
К тебе, к тебе обращены смеющиеся лица.

О Капитан! моя рука  
Под мёртвой головой.  
Нет, это сон, что ты упал  
Холодный, неживой!

---

<sup>1</sup> Одно из немногих стихотворений Уитмана, где отчасти соблюдена рифмовка. Написано под впечатлением смерти президента Линкольна (1865). Клад, о котором здесь говорится, — объединение Штатов и освобождение негров.

Мой Капитан безмолвствует, мой Капитан безволен,  
Моей руки не чувствует, не слышит колоколен,  
До гавани довёл он свой боевой фрегат,  
Провёз он через бурю свой драгоценный клад.

Звените, смейтесь, берега,  
Но горестной стопой  
Я прохожу по палубе,  
Где пал он неживой.

# П Р О З А

## ПИСЬМО К РУССКОМУ

...Вы, русские, и мы, американцы! Россия и Америка, такие далёкие, такие несхожие с первого взгляда! Ибо так различны социальные и политические условия нашего быта! Такая разница в методах нашего нравственного и материального развития за последние сто лет!

И всё же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи. И у вас, и у нас — разнообразие племён и наречий, которому во что бы то ни стало предстоит спаяться и сплавиться в единый союз. Не сокрушённое веками сознание, что у наших народов у каждого есть своя историческая, священная миссия, свойственно вам и нам. Пылкая склонность к героической дружбе, вошедшая в народные нравы, нигде не проявляется с такой силой, как у вас и у нас. Огромные просторы земли, широко раздвинутые границы, бесформенность и хаотичность многих явлений жизни, всё ещё не осуществлённых до конца и представляющих собою, по общему убеждению, залог какого-то неизмеримо более великого будущего, — вот черты, сближающие нас. Кроме того, и у вас, и у нас есть своё независимое руководящее положение в мире, которое и вы и мы всячески стремимся удержать и за которое, в случае надобности, готовы выйти в бой против всего света; бессмертные стремления, живущие в глубине глубин обоих великих народов, такие страстные, такие загадочные, такие бездонные, — всё это опять-таки наше общее свойство, присущее в равной мере и нам, американцам, и вам, русским.

Так как заветнейшая мечта моя заключается в том, чтобы поэмы и поэты стали интернациональны и объединяли все страны на земле плотнее и крепче, чем все договоры и дипломаты, так как подспудная идея моей книги — задушевное содружество людей (сначала отдельных людей, а потом, в итоге,

всех народов земли), — мне надлежит ликовать, что меня услышат, что со мною войдут в эмоциональный контакт великие народы России.

Этим народам я здесь и теперь (обращаясь в вашем лице к России и к русским и предоставляя вам право, если вы найдёте удобным, напечатать в вашей книге в качестве предисловия моё письмо) — этим народам я шлю сердечный салют с наших берегов от имени Америки.

Уолт Уитман<sup>1</sup>.

Кемден, Нью-Джерси, Соединённые Штаты.  
20 декабря 1881.

## ЧАСЫ ДЛЯ ДУШИ (Фрагмент)

22 июля 1878. Большая часть неба словно только что забрызгана широкими брызгами фосфора. Вашему взгляду удаётся проникнуть глубже и дальше обычного. Звёзды гу-

---

<sup>1</sup> В 1881 г. некий русский литератор, проживавший в Дрездене (очевидно, политический эмигрант), желая перевести «Листья травы» Уолта Уитмана на русский язык, обратился к поэту с просьбой об авторизации перевода. Уолт Уитман ответил ему из Кемдена, что охотно исполняет его просьбу, и приписал несколько строк, могущих служить предисловием к русской версии «Листьев травы», которые мы и печатаем здесь.

Характерно для Уитмана, что он адресовал свой привет не одному лишь русскому народу, а всем народам нашей многоязычной страны, — украинцам, узбекам, татарам и пр. Одно это должно было вызвать недовольство царской цензуры, не говоря уже о тех идеях международного братства, которые высказывал он в своём предисловии. Нечего было и думать о переводе такого предисловия в России, тем более что в 1881 г., вскоре после казни Александра II, цензурные строгости чрезвычайно усилились. Вообще пропагандировать Уитмана в эпоху белого террора, наступившую после 1 марта, было, конечно, невысказано. Попытка неизвестного переводчика дать русскому читателю «Листья травы» была заранее обречена на неудачу. Очевидно, об этой неудаче Уолт Уитман был тогда же извещён; возможно, что именно о ней вспоминает он в разговоре с Горэсом Тробелом. В знаменитых дневниках Тробела, пунктуально воспроизводящих ежедневные беседы с Уолтом Уитманом, происходившие в конце 80-х годов, есть, между прочим, такая запись:

«— В России, — сказал Уитман, — мои стихи под запретом. Их не разрешают печатать... Об этом сообщил мне Джон Суинтон, у которого есть связи с тамошними революционерами.

— Из-за чего же их запрещают? — спросил Тробел. — Не из-за того ли, что вы демократ?

— Не думаю. Хотя возможно и это. Вернее всего, узнали, что я склонен оправдывать революционных бойцов». (Цитирую по книге Э. Ли Мастерса «Whitman», 1937, стр. 257.)

сты, как в поле пшеница. Не то чтобы какая-нибудь из них, отдельная, была слишком ярка; в зимние морозные ночи звёзды острее, пронзительнее, но общее разлитое в небе сияние необычайно для взора, для чувств, для души. Особенно для души. (Я убеждён, что в Природе есть часы — в утреннем и вечернем воздухе, — специально обращённые к душе. В этом отношении ночь превосходит всё, что может сделать самый заносчивый день.) В эту ночь, как никогда дотолё, небеса возвестили господнюю славу. Это были небеса Библии, Аравии, пророков, небеса древнейших поэм. Там, в тишине, оторвавшись от мира (я ушёл одиноко из дому, чтобы впитать в себя видимое, чтобы не разрушить этих чар), — и обилие, и отдалённость, и жизненность, и насыщенность этого звёздного свода, распостёртого у меня над головой, — всё это понемногу влилось в меня, пропитало меня насквозь. Они так свободны, так бескрайно высоки, раскинулись к северу, к югу, к востоку и западу, а я, маленькая точка, внизу, посередине, вмещаю и воплощаю в себе всё это множество.

Как будто в первый раз вся вселенная бесшумно погрузила в меня свою светлую несказанную мудрость, которая выше, — о, безгранично выше! — всего, что могут выразить наши книги, искусства, проповеди, древние и новые науки. Час души и религии — зримое свидетельство о боге в пространстве и времени, явное и ясное, как никогда. Нам показывают неизреченные тайны. Всё небо вымощено ими. Млечный путь — сверхчеловеческая симфония, ода всемирного хаоса, презревшая звуки и ритмы, огнезарный взор божества, обращённый к душе. Тишина — неопишуемая ночь и звёзды — далеко, в тишине.

*Рассвет. 23 июля.* Сегодня между часом и двумя перед восходом солнца, на том же фоне, происходило иное — иная красота, иной смысл.

Луна ещё высока и ярка. В воздухе и в небе что-то цинически-ясное, девственно-хладное, Минервоподобное, нет уже ни лирики, ни тайны, ни экстаза, нет религиозного чувства. Многообразное Всё, обращённое к одной душе, перестаёт существовать. Каждая звезда — сама по себе, — словно вырезанная, отчётливо видна в бесцветном воздухе. Утро будет сладостно, прозрачно, свежо, но лишь для эстетического чувства. В его чистоте нет души. Я только что пытался описывать ночь, посягну ли на безоблачное утро? Какая неуловимая нить между рассветом и душой человеческой! Ночи похожи одна на другую, и утра похожи одно на другое, но всё же каждое утро особенное и каждая ночь иная.

Сначала огромная звезда невиданного, великолепно-белого цвета с двумя или тремя длинными лучами, которые, словно пики различной длины, сверкают в утреннем эфире алмазами. Час этого великолепия и — рассвет...

## МОЛЧАЛИВЫЙ ГЕНЕРАЛ<sup>1</sup>

28 сентября 1879 г. Итак, генерал Грант объехал весь мир и снова вернулся домой. Вчера он прибыл в Сан-Франциско из Японии на пароходе «Токио». Что за человек! Какая жизнь! Вся его биография показывает, к чему способен любой из нас, любой американец. Циники пожимают плечами: «Что люди находят в Гранте? Отчего вокруг него столько шуму?» По их словам (и они, несомненно, правы), он значительно ниже среднего культурного уровня, достигнутого нашей эпохой в области литературы и науки, никаких особых талантов у него не имеется, он решительно ничем не замечателен.

Всё это так. И, однако, жизнь этого человека показывает, как по воле случая, по капризу судьбы, заурядный западный фермер, простой механик и лодочник, может внезапно занять невероятно высокий, страшно ответственный военный или гражданский пост, возбуждающий общую зависть, возложить на себя такое тяжкое бремя власти, какого на памяти истории не знал никакой самодержец, и отлично пробиться сквозь все препоны, и с честью вести страну (и себя самого) много лет, командовать миллионом вооружённых людей, участвовать в пятидесяти (и даже больше) боях, управлять в течение восьми лет страной, которая обширнее всех европейских государств взятых вместе, а потом, отработав свой урок и уйдя на покой, безмятежно (с сигарой во рту) сделать променад по всему свету, побывать в его дворцах и салонах, у царей, у королей, у микадо — пройти сквозь все этикетки и пышнейшие блески так флегматично, спокойно, словно он гуляет в послеобеденный час в галлерее какой-нибудь миссурийской гостиницы.

За это его и любят. Я тоже люблю его за это. По-моему, это превосходит Плутарха. Как обрадовались бы ему древние

---

<sup>1</sup> Генерал Грант (1822—1885) — знаменитый американский полководец, доведший до победного конца гражданскую войну с рабовладельческим Югом. Дважды был президентом Соединённых Штатов. В 1877 г. уехал из Америки, посетил Европу, Индию, Китай, Японию. Вернулся в 1879 г.

греки! Простой, обыкновенный человек — никакой поэзии, никакого искусства! Только здравый практический смысл, готовность и способность работать, выполнить ту задачу, которая встала перед ним. Заурядный торговец, делатель денег, кожевник, фермер из Иллинойса — генерал республики в эпоху её страшной борьбы за своё бытие, во время междоусобной войны, когда страна чуть было не распалась на части, а потом, во время мира, — президент (этот мир был тяжелее войны) — и ничего героического (как говорят авторитетные люди). И всё же величайший герой. Кажется, что боги и судьбы сосредоточились в нём.

### КНИГИ ЭМЕРСОНА (ИХ ТЁМНЫЕ СТОРОНЫ)

...Я рассмотрю его книги с демократической, западной<sup>1</sup> точки зрения. Я отмечу тёмные пятна на этих залитых солнцем просторах. Кто-то выразился о героических душах, что «там, где есть высокие вершины, неизбежны глубокие долины и пропасти». У меня неблагоприятная задача: я хочу умолчать о вознёсшихся в небо вершинах и залитых солнцем просторах и говорить лишь о голых пустынях и тёмных местах. Я убеждён, что ни один первоклассный художник, ни одно великое произведение искусства не могут обойтись без них.

Итак, во-первых, не кажется ли вам, что страницы Эмерсона слишком хороши, слишком густы? (Ведь и хорошее масло, и хороший сахар — отличные вещи, но всю жизнь не есть ничего, кроме сахара с маслом, хотя бы самого лучшего качества!) Автор постоянно говорит о привольи, о дикости, о простоте, о свободном излиянии духа, а между тем у него каждая строчка зиждется на искусственных, профессорских тонкостях, на учёных церемониях. Это у него зовётся культурой. Это тот фундамент, на котором он строит. Он делает, он мастерит [свои книги], ничто не растёт у него бессознательно. Это фаянсовые статуэтки, фигурки: фигурка льва, оленя, краснокожего охотника, — грациозные статуэтки тонкой работы; поставить бы их на полке из мрамора или красного дерева в кабинете или в гостиной! Статуэтка зверя, но не зверь. Статуэтка зверолова, но не зверолов. Да и кому нужен настоящий зверолов, настоящий зверь! Что делать настоящему зверю среди портьер, безделушек, джентльменов и дам,

<sup>1</sup> Западные штаты Северной Америки были менее тронуты культурой, чем восточные.

негромко беседующих об искусстве, о Лонгфелло и Роберте Броунинге? Только намекни им, что это подлинный бык, настоящий краснокожий, неподдельные явления Природы, — все эти добрые люди в ужасе кинутся бежать кто куда.

Эмерсон, по моему мнению, лучше всего проявляет свои дарования отнюдь не в качестве художника, поэта, учителя, хотя и в этом он очень неплох. Главная его сила — критика, литературный диагноз. Им управляет не страсть, не фантазия, не преданность какой-нибудь идее, не заблуждение, а холодный и бескровный интеллект. (О, я знаю, там есть и огни, и тревоги, и жаркая любовь, и эгоизмы, и вечное глубокое пылание, как у всех уроженцев Новой Англии, но всё это скрыто от взора за холодным и бесстрастным фасадом и ничем не даёт себя знать.) Эмерсон никогда не бывает пристрастен, односторонен, как это случается со всеми поэтами, с самыми изящными писателями; он видит все стороны, сочувствует всем. Под влиянием его произведений вы, в конце концов, перестаете благоговеть перед чем бы то ни было, и благоговеее только перед собой. Вы уже не верите ни во что — только в себя самого. Это хорошо, но лишь на время. Эти книги заполнят — и прекрасно заполнят — одну из эпох вашей жизни, одну из стадий вашего духовного развития — в этой роли они несказанно полезны (как для самого Эмерсона было в юности полезно богословие и те религиозные догматы, которые он проповедывал). Эти книги только этап. Но в часы вашей старости, или в часы, когда у вас подняты нервы, или в самые торжественные часы вашей жизни, или в часы вашей смерти, когда вы жаждете нежащих и укрепляющих воздействий бездонной Природы, когда вы ищете их в литературе или в человеческом обществе, — разум, один только разум, как бы он ни был остёр, покажется вашей душе ни к чему, и эти книги будут вам не нужны.

Как философ Эмерсон чересчур элегантен. Он требует благовоспитанных, тонких манер. Он как будто не знает, что наши манеры и нервы — это те внешние признаки, по которым металлург или химик отличает один металл от другого. Для хорошего химика все металлы равно хороши, а верхогляд, разделяющий предрассудки толпы, сочтёт золото лучшим из всех. Так и для истинного художника те манеры, что зовутся дурными, может быть, наиболее живописны и ценны. Вообразите, что книги Эмерсона вошли в нашу плоть и кровь, стали основой, млечным соком американской души, — какие бы мы сделались умытые, чистенькие, грамматически правильные, но беспомощные и бескровные люди. Нет, нет, дорогой друг! Хотя Штатам и нужны учёные, хотя, может быть, им

также нужны такие джентльмены и дамы, которые регулярно купаются в ванне, никогда не смеются слишком громко и не делают ошибок в разговоре, но было бы ужасно, если бы мы все до единого превратились в этих профессоров, джентльменов и дам. Штатам нужны и хорошие фермеры, и моряки, и мастеровые, и клерки, и деловые люди, и общественные работники, и граждане, — превосходные отцы и матери. Побольше бы нам этих людей — дюжих, здоровых, благородных, любящих родину, и пусть их сказуемые не согласуются с их подлежащими, а их смех гроыхает, как ружейные выстрелы! Конечно, Америке мало и этого, но это главное, что ей нужно, и нужно в огромном количестве. И кажется, что Америка по интуиции, бессознательно, ощупью идёт именно к этой цели, несмотря на все страшные ошибки и отклонения от прямого пути. Создание (по примеру Европы) какого-то особого класса переутончённых, рафинированных людей (отрезанных от остального человечества) — дело отнюдь не плохое само по себе, но для Соединённых Штатов оно не подходит. В нём гибель для нашей американской идеи, её верная смерть. К тому же Соединённые Штаты и не в силах создать такой особый, специальный класс, который, по своему великолепию и духовной утончённости, мог бы состязаться или хотя сравниться с тем, что создано главнейшими европейскими нациями в былые времена и теперь. Нет, не в этом задача Америки. Создать великий замечательный союз, обладающий огромным и разнообразным пространством земли, — на западе, на востоке, на юге, на севере, — создать, впервые в истории мира, великий многоплеменный истинный Народ, достойный этого имени, состоящий из героических личностей, — вот ради чего существует Америка. Если эта цель осуществится, она в той же мере, если не вдвойне, будет результатом соответствующих демократических социальных учений, литератур и искусств, как и нашей демократической политики.

По временам мне казалось, что Эмерсон едва ли понимает, что такое поэзия, в высшем значении этого слова, — поэзия Библии, Гомера, Шекспира. В сущности, ему больше по нраву шлифованные сочетания слов, или что-нибудь старинное или занятное, например, стихи Уоллэра «Ты, милая роза!», или строки Ловлэса «К Локусте»<sup>1</sup>, затейливые причуды старых французских поэтов и т. д. Конечно, он восхищается силой, но восхищается ею как джентльмен и в глубине души пола-

<sup>1</sup> Эдм. Уоллэр (1605—1687) — английский писатель, автор очень гладких, изящных стишков. Ричард Ловлэс (1618—1658) написал томик грациозных романсов, воспевающих его любимую девушку, которая в его стихах именовалась Локустой.

гает, что все величайшие свойства бога и поэтов должны быть всегда подчинены октавам, ловким приёмам, нежному бряцанию звуков, словам.

Вспоминая, что я когда-то, много лет тому назад, подвергся (как и большинство молодёжи) некоторому, хотя поверхностному и довольно позднему, влиянию Эмерсона, что я набожно читал его книги и обращался к нему в печати как к «учителю» и около месяца верил, что я вправду его ученик, — я не испытываю никакого неприятного чувства. Напротив, я очень доволен. Я заметил, что большинство молодых людей, обладающих пылким умом, неизбежно проходит через эту стадию душевной гимнастики.

Главное достоинство Эмерсоновой доктрины заключается в том, что она порождает гиганта, который разрушает её. Кто захочет быть чьим-нибудь учеником и последователем? — слышится у него на каждой странице. Никогда не было учителя, который представлял бы своим ученикам такую безграничную волю идти самостоятельным путём. В этом отношении он истинный эволюционист.

## ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ДАЛИ

(Фрагменты)

...Две судьбы возможны для Америки. Либо её история превзойдёт и затмит пышную историю феодального мира, либо она потерпит грандиознейший, до сих пор невиданный, крах. В её материальном успехе я не сомневаюсь нисколько. Будущее торжество её торговли, промышленности, её географического положения и производительных сил обеспечено ей в самых широких размерах. Здесь ждёт её необыкновенное множество разнообразных триумфов. В этом отношении наша республика должна в скором времени оставить далеко за собою (если ещё не оставила) все республики, существовавшие доньше.

Это для меня очевидно. Точно так же я охотно признаю всю огромную ценность наших политических учреждений, всеобщего голосования и пр. (В полной мере сочувствую я недавнему расширению избирательных прав.) Но есть нечто более важное, более глубокое, нечто такое, что может одно окончательно, раз навсегда, создать из нашего Нового Света величайшую нацию, превосходящую все остальные, возвышающуюся над былыми эпохами, — это мощные, неведомые до сих пор Литературы, это совершенные личности, это совер-

шенный общественный строй. Всё это должно выражать демократию и нашу современную эпоху (ибо подлинное, высшее их выражение ещё не обретено до сих пор).

...Никогда и ни в чём так не нуждались и не нуждаются Штаты, как в новом современном поэте, великом певце современности. Во все времена у всех народов центральным стержнем, вокруг которого вращалась вся народная жизнь, которым эта жизнь держалась и благодаря которому данный народ влиял на другие народы, была национальная литература, главным образом литература эпическая, создающая прообразы величия. Больше, чем во всех других странах прошлого, великая самобытная литература должна сделаться оправданием и надеждой (в некотором отношении единственной надеждой) демократии Нового Света...

Многим неясно, как может литература проникать собою всё, давать всему свою окраску, творить коллективы и отдельных людей и как может она, по собственной прихоти, неприметно и вкрадчиво, с непреодолимым могуществом, создавать, лелеять, разрушать. Почему две страны, сами по себе небольшие, высятся в нашей памяти над всеми народами мира как гигантские колонны, как башни несказанной красоты? В двух поэмах живёт до сих пор бессмертная Иудея и Эллада бессмертная...

Ещё не все постигли до конца, что главной опорой европейского рыцарства, феодального, церковного, династического строя, его скелетом, его костяком была опять-таки его литература, особенно его чудесная поэзия, его песни, его баллады. Именно она, литература, сберегла этот мир от раздробленности, сотни и тысячи лет сохраняла его плоть, его жизнь, придавала ему чёткую, закруглённую форму. Она так сильно пропитала собой все верования, все чувства и вдохновения людей, что этот мир сохраняет свою власть по сей день, стойко сопротивляясь мощным превратностям времени...

В области наук и публицистики Америка как будто не внушает тревог. Напротив, у нас есть основания надеяться, что эта литература будет и глубоко серьёзна, и насущно полезна, и жизненна. Во многом эти надежды, пожалуй, и сейчас уже стали реальностью. Но в области литературы художественной для нашего века и для нашей страны требуется нечто такое, что равносильно сотворению мира. Политические мероприятия, поверхностные избирательные права и законодательство не могут одни влить в демократию новую кровь и поддержать в её теле здоровую жизнь. Для меня нет никакого сомнения, что, пока демократия не займёт в чело-

веческих сердцах, в чувствах и в вере такого же прочного, надёжного места, как феодализм или церковная власть, пока у неё не будет своих собственных вечных источников, бьющих всегда из глубин,— её силы будут слабы, её рост сомнителен, и главного очарования в ней не будет. Два-три подлинно самобытных американских поэта (или два-три живописца, или два-три оратора), поднявшиеся над горизонтом, подобно планетам или звёздам первой величины, могли бы примирить между собой и слить воедино разные народы и далеко отстоящие местности и придать этим Штатам больше сплочённости, больше нравственного единства и тождества (столь необходимых теперь), чем все их конституции, законодательства, политические, военные и промышленные мероприятия взятые вместе. У каждого штата своя история, особый климат, особые города, особый жизненный уклад; потому-то им и необходимы общие типы, общие герои, общие успехи и неудачи, общая слава и общий позор. И не менее, а более, гораздо более, им нужно целое созвездие могучих писателей, художников, учителей, способных стать выразителями всей нашей нации, того, что есть универсального, общего, присущего всей стране, на севере, на юге, у побережья и в центре.

По словам историков, отдельные области, города и государства древней Греции вечно враждовали между собой и объединились, увы, лишь тогда, когда их покорили чужеземцы.

Конечно, Америке никакой завоеватель не грозит, и такого объединения ей, к счастью, ожидать не приходится, но всё же меня постоянно пугает мысль о наших внутренних распрях, о том, что у наших Штатов ещё не существует скелета.

Я утверждаю, что в минуты общей опасности естественным объединителем Штатов станет и должен стать отнюдь не закон, не личный интерес каждого, как обычно полагают у нас, не общность денежных, материальных интересов, а горячая и грандиозная Идея, расплавляющая всё своим сокрушительным жаром и сливающая все оттенки различий в одну-единственную безграничную духовную, эмоциональную силу.

Могут возразить (считаю такое возражение вполне основательным), что самое главное — это всеобщее благополучие, зажиточность масс, сопутствуемая жизненными удобствами всякого рода, что это главное и ничего другого не надо. Могут указать, что наша республика, превращая дикие степи в плодородные фермы, проводя железные дороги,

строя корабли и машины, уже тем самым создаёт величайшие произведения искусства, величайшие поэмы и т. д. И могут спросить: не важнее ли эти корабли, машины и фермы, чем откровения самых великих рапсодов, художников, вещих литературных жрецов?

Я с гордостью и радостью приветствую и корабли, и машины, и фермы, но, воздав им должную дань восхищения, повторяю опять, что, по-моему, душа человеческая не может удовлетвориться лишь ими. Стоя на них как на твёрдой земле, она требует себе иного, высшего, она стремится лишь к себе самой.

Возникает важный вопрос: какая же американская средняя личность, выявленная в литературе и искусстве, отразит общие национальные черты и тем послужит взаимному общению всех?

Обычно столь проницательные американские мыслители либо оказывали этому вопросу весьма мало внимания, либо совсем не замечали его, словно погружённые в сон.

Мне хотелось бы, по мере возможности, разбудить и предостеречь даже политика, даже дельца против того господствующего заблуждения, будто бы политическая свобода, умственная бойкость и ловкость, благоустроенный общий порядок, материальный достаток и промышленность (сколь ни желательны и ценны они сами по себе) могут обеспечить плодотворный успех всему нашему демократическому делу. В полной мере (или почти в полной мере) владея всеми этими благами, Штаты победоносно вышли из борьбы с самым страшным из всех врагов, внутренним врагом, пребывающим в их собственных недрах<sup>1</sup>.

И, тем не менее, при беспрецедентном материальном прогрессе, общество в Штатах испорчено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы политики, таковы и частные лица. Во всех слоях нашего общества совершенно отсутствует или недоразвит и серьёзно ослаблен важнейший элемент всякой личности и всякого государства — совесть.

Я полагаю, что настала пора взглянуть на нашу страну и на нашу эпоху испытующим взглядом, как смотрит врач, определяя глубоко скрытую болезнь. Никогда ещё сердца не были так опустошены, как теперь здесь у нас, в Соединённых Штатах. Кажется, истинная вера совершенно покинула нас. Нет веры в основные принципы нашей страны (несмотря на весь лихорадочный пыл и мелодраматические визги), нет веры даже в человечество.

<sup>1</sup> Междоусобная война Северных Штатов с Южными (1861—1865).

Чего только не обнаруживает под личиной проницательный взгляд! Ужасное зрелище. Мы живём в атмосфере лицемерия. Мужчины не верят в женщин, женщины не верят в мужчин. Презрительная ирония господствует в литературе. Цель всех литераторов — найти предмет для насмешек. Бесконечное количество сект, церквей и т. д., самые мрачные призраки из всех, какие я знаю, присвоили себе имя религии. Разговоры — одна болтовня, зубоскальство. От лживости, коренящейся в духе, — матери всех фальшивых поступков, — произошло несметное потомство.

Один неглупый откровенный человек, из Департамента сборов в Вашингтоне, объезжающий по обязанности службы города севера, юга и запада для расследования злоупотреблений, говорил мне о своих печальных открытиях.

Испорченность делового класса не меньше, чем принято думать, а неизмеримо больше. Общественные учреждения Америки во всех ведомствах, кроме судебного, изъедены взяточничеством и злоупотреблениями всякого рода. Суд начинает заражаться тем же. В больших городах процветает (наряду с неблаговидным грабежом) вполне благовидный, достопочтенный грабёж. Очень много респектабельных мошенников. В высшем свете легкомыслие, любовные шашни, лёгкие измены, ничтожные цели или полное отсутствие каких бы то ни было целей, за исключением одной: убить время. В делах (всепожирающее новое слово — «дела»), по общему признанию, существует одна только цель — любыми средствами добиться барыша. В сказке один дракон сожрал всех других драконов. Нажива — вот наш нынешний дракон. И все вокруг уже съедены им. Что такое наше высшее общество? Толпа шикарно разодетых спекулянтов и пошляков самого вульгарного типа. Правда, за кулисами этого дикого фарса, поставленного у всех на виду, где-то в глубине, на заднем плане, увидишь колоссальные труды и опромные вещи, которые рано или поздно, когда наступит их срок, выйдут из-за кулис на авансцену, но действительность всё-таки ужасна; я утверждаю, что, хотя демократия Нового Света достигла великих успехов в деле извлечения масс из болота, в котором они погрязали, в деле материального развития, в деле обманчивого, поверхностного культурного лоска, она потерпела банкротство в своём социальном аспекте, в своём религиозном, нравственном и литературном развитии: напрасно приближаемся мы небывало большими шагами к тому, чтобы стать колоссальнейшей империей в мире, превзойти все древние монархии, оставить за собою империю Александра и гордую республику Рима. Напрасно

присоединили мы Техас, Калифорнию, Аляску и на севере достигли пределов Канады, а на юге — пределов Кубы; мы стали похожи на существо, одарённое громадным, хорошо приспособленным и всё более развивающимся телом, но почти лишённое души.

В качестве иллюстрации к сказанному приведу несколько беглых наблюдений, набросков с изображениями местностей и пр. Моя тема так значительна, что я не боюсь повторяться.

После некоторого отсутствия я снова (сентябрь 1870) в Нью-Йорке и в Бруклине. Я поселился здесь на несколько недель моих каникул. Великолепие и живописность этих двух городов, их океаноподобный простор и грохот, ни с чем не сравнимое их местоположение, новые высокие здания, реки и бухта, сверкание морских приливов, фасады из железа и мрамора, развевающиеся флаги, бесчисленные корабли, шумные улицы, Бродвей, тяжёлый, глухой, музыкальный, не-смолкающий и ночью гул, маклерские конторы, богатые магазины, верфи, грандиозный Центральный парк и холмистый парк Бруклина. Я брожу среди этих холмов в великолепные осенние дни, размышляя, вникая, впитывая в себя впечатления толпы горожан, разговоры, куплю-продажу, вечерние развлечения, пригороды — всё это вполне насыщает меня ощущениями мощи, избытка жизненных сил и движения, возбуждает во мне непрерывный восторг и вполне удовлетворяет и мои аппетиты и мой эстетический вкус. Особенно когда я переправляюсь на парходике через Северную или Восточную реку или провожу время с лоцманами в их прибрежных домах, когда я толкаюсь на Уолл-стрит<sup>1</sup> или на — золотой бирже (да позволено мне будет признаться в моих личных привязанностях), я чувствую всё больше и больше, что не одна только природа величественна своими полями, просторами, бурями, зрелищами дней и ночей, горами, лесами и т. д. Творчество, искусство человека может быть так же величественно разнообразием хитроумных изобретений, улиц, товаров, кораблей: великолепно спешащие, лихорадочные электрические толпы людей в проявлении своего многообразного делового гения (отнюдь не худшего гения среди всех остальных), величаво могущество тех неисчислимых и пёстрых богатств, которые сосредоточены здесь.

Но, закрыв глаза на это поверхностное, внешнее впечатление и сурово отвергнув его, всмотримся в то единственное, что имеет значение, всмотримся в Человеческую Личность.

---

<sup>1</sup> Уолл-стрит — улица в Нью-Йорке, где помещается биржа.

Внимательно изучая её, мы задаём вопрос: существуют ли на самом деле мужчины, достойные этого имени? Существуют ли атлеты? Где совершенные женщины, которые были бы подстать нашим материальным роскошествам? Окружает ли нас атмосфера прекрасных нравов, прекрасного быта? Где милые юноши и величавые старцы? Есть ли у нас искусства, достойные нашей свободы и наших народных богатств? Существует ли культура нравственная и религиозная, единственное оправдание большой материальной культуры? Признайтесь, что для строгого глаза, смотрящего на человечество сквозь нравственный микроскоп, все эти города, кишашие ничтожными гротесками, калекками, призраками, бессмысленно кривляющимися шутами, представляются какой-то выжженной, гладкой Сахарой. В лавке, на улице, в церкви, в театре, в пивной, в канцелярии — всюду легкомыслие, пошлость, гнусное лукавство, предательство, всюду фатоватая, хилая, чванная, преждевременно созревшая юность, всюду чрезмерная похоть, нездоровые тела, мужские и женские, подкрашенные, подмалёванные, в шиньонах, грязный цвет лица, испорченная кровь, способность к материнству прекращается или уже прекратилась, вульгарные понятия о красоте, дурные манеры или, вернее, полное отсутствие манер, какого, пожалуй, не найти во всём мире.

Чтобы снова вдохнуть в этот плачевный порядок вещей здоровую и героическую жизнь, нужна новая литература, способная не только отражать или копировать внешность, не только угождать, как проститутка, тому, что называется вкусом, не только забавлять для пустого препровождения времени, не только прославлять лишь изысканное, стародавнее, изящное, не только выставлять напоказ свою умелую технику, ловкую праматику, ритмику, нужна литература, изображающая то, что под спудом, проникнутая религией, идущая в ногу с наукой, властно и умело справляющаяся со стихиями и силами жизни, способная дать уроки и нужную тренировку мужчинам и — что важнее, ценнее всего — освободить женщину из этих невероятных клещей глупости, модных тряпок, худосочного опустошения души, нужна литература, могущая создать для Штатов сильное, прекрасное племя Матерей...

Наша политическая демократия есть основание будущей литературы, будущего творчества. Посмотрим же беглым задумчивым взглядом, в чём заключается её естество и как она возникла. Конечно, мы скоро увидим, что эта идея находится в постоянном разладе с другой — с идеей индивиду-

ализма, обособленной личности. Но ведь только благодаря демократии, когда она могуча и цветуща, бывает обеспечен простор для отдельной личности, для индивидуализма. Демократия и личность — два противоположных явления, но мы должны согласовать, примирить их.

Демократия понемногу вытесняет прежнюю церковную схоластическую веру в необходимость абсолютной династической власти как единственного оплота против хаоса, преступления и невежества; конечная её цель заключается в том, чтобы, не обращая внимания ни на какие отклонения в сторону, ни на какие насмешки, нападки и неудачи, доказать путём практического воплощения в жизни, теорию о человеческой личности, утверждающую, что воспитанный в духе истинной свободы человек не только может, но должен стать единственным законом для себя самого, укрепляя власть над собой и по отношению к другим индивидам в государстве. Конечно, и прочие системы были в своё время нужны и полезны, но в настоящее время одна только эта система является достойной того, чтобы осуществлять её, исходить из неё при том порядке вещей, который существует теперь в нашем цивилизованном мире.

Народ! Он, как наша большая земля, при обычном упоминании, кажется полным грубых противоречий и, при общем взгляде на него, стоит вечной загадкой и вечным оскорблением для мало-мальски образованных классов. Только редкий космический ум художника, озарённый Бесконечностью, может постичь многообразные, океанические свойства Народа, а вкус, образованность и (так называемая) культура всегда были и будут его врагами.

Ярко были позолочены самые гнусные преступления и свинские мерзости феодального и династического мира в Европе, представители которого — короли и принцессы и двор — были так изящно одеты и блистали такой красивой наружностью. А Народ был неграмотен, грязен, и грехи его были тощи и грубы.

Литература, в сущности, никогда не признавала Народа и, что бы ни говорили, не признаёт его сейчас. До сих пор она, говоря вообще, стремилась только к тому, чтобы создать наиболее сварливых, ни во что не верящих людей. Кажется, будто существует какая-то вечная взаимная вражда между жизнью литературы и грубым сильным духом демократий. Правда, позднейшей литературе не чуждо милостивое, благосклонное отношение к Народу, но даже у нас редко встречает-

ся должная научная оценка и уважительное понимание скрытых в нём безмерных богатств и громадности его сил и способностей, присущих ему художественных контрастов света и тени. В Америке с этим соединяется—в минуты опасности—полная вера в себя, в своё счастье и величавый исторический размах — во время войны или мира, — какого не найдёшь во всём свете, не найдёшь у хвалёных книжных героев и у людей хорошего тона, во всех летописях человечества.

Зло недаром играет такую роль среди нас. Судя по главным эпохам истории мира, справедливость всегда до сих пор в угнетении, мир шествует среди провалов и ям, и не было ещё такого времени, когда какой-нибудь голос мог бы сказать, что в жизни не существует рабства, нищеты, низости, лукавства тиранов и доверчивой наивности простого народа, как бы ни были разнообразны те формы, в которых выражаются эти грехи. Иной раз тучи на минуту прорвутся, выглянет солнце, и снова как будто навеки — глубокая тьма. Но есть бессмертное мужество и дар пророчества во всякой неизвращённой душе, — она до последней минуты не должна и не может сдаваться. Да здравствует атака, да здравствует вечный набег! Да здравствует не признанная толпою идея, за которую дерзновенно сражается человеческий дух, — неуклонные и неустанные попытки среди враждебных прецедентов и доводов.

Однажды, ещё до войны, я тоже был полон сомнения и скорби. (Увы, мне стыдно признаться, как часто эти чувства приходили ко мне!) В тот день у меня был разговор с одним иностранцем, проникательным, хорошим человеком; разговор произвёл на меня впечатление; в сущности, он выражал мои собственные наблюдения и мысли. «Я много путешествовал по Соединённым Штатам, — говорил иностранец, — я наблюдал ваших политических деятелей, слушал речи кандидатов, читал газеты, заходил в пивные, вслушивался в непринуждённые беседы людей. И я убедился, что ваша хвалёная Америка с ног до головы покрыта язвами, и эти язвы — вероломство, измена и себе и своим собственным принципам! Из всех окон, изо всех дверей на меня бесстыжé глядели дикие личины раздора и рабства, всюду я видел, как мерзавцы и воры либо назначали других на всевозможные общественные должности, либо сами занимали эти должности. Север не менее порочен, чем Юг. Из сотни чиновников, служащих на общегосударственной службе, или в каком-нибудь

штате, или в каком-нибудь городе, не было и одного, который был бы действительно избран волей незаинтересованных лиц, волей самого народа. Все были навязаны народу большими или маленькими кучками политиканов, при помощи недостойных махинаций и подкупленных выборщиков; заслуги и достоинства здесь не ценились нисколько. Всюду я видел, как миллионы крепких и смелых фермеров и мастеровых превращаются в беспомощный гибкий камыш в руках сравнительно немногочисленной кучки политиканов. Всюду, всюду я видел одно и то же тревожное зрелище, как партии захватывают власть в государстве и с открытым бесстыдством пользуются ею для корыстных партийных целей».

Печальные, серьёзные, глубокие истины. Но есть другие, ещё более глубокие, истины, которые преобладают над первыми и, так сказать, опровергают их. Над всеми политиканами, над их большими и малыми шайками, над их наглостью и подлой порочностью, над самыми сильными партиями возвышается власть, может быть, покуда ещё дремлющая, но всегда решающая и приказывающая по своему усмотрению, осуществляющая свои решения с суровой непреклонностью. Порою она разбивает вдребезги самые сильные партии, даже в час их торжества и могущества.

В более светлые часы всё кажется совершенно иным. Есть события и более существенные, чем избрание губернатора, мэра или члена конгресса, хотя, конечно, очень важно, кого избирают, и ужасно, если избирают невежду или негодяя, как это бывает порой. Но обман, как морские отбросы, всегда окажется на виду, на поверхности. Лишь бы самая вода была глубока и прозрачна. Лишь бы одежда была сшита из добротной материи: ей не повредят никакие позументы и нашивки, никакая наружная мишура, ей вовеки не будет сносу. Словом, не беда, что в нашем народе и в нашей стране возникла кровавая смута; ведь этот народ сам нашёл в себе силы её подавить.

В конце концов главное значение в стране имеет лишь средний человек. У нас в Штатах он бессмертный господин и хозяин всего; только он, различными путями, извлекает пользу из работы любого чиновника, даже негодного (обеспечивая себе удовлетворение насущнейших, наиболее элементарных потребностей, регулярность в выполнении этих функций и дальнейшую охрану их).

...Когда я скитаюсь под разными широтами в разные времена года и наблюдаю толпы в больших городах: в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Цинциннати, Чикаго, Сент-

Луизе, Сан-Франциско, Новом Орлеане, Балтиморе, когда я смешиваюсь с этими бесчисленными сонмами бойких, подвижных, добродушных и независимых граждан, мастеровых, мелких служащих, подростков, то при мысли об этом множестве таких свободных и свежих, таких любящих, таких гордых людей меня пугает одна странная мысль.

С изумлением и стыдом я чувствую, что никто из наших гениев, талантливых писателей и ораторов не говорил с этими людьми по-настоящему. Мало кто мог (вернее, никто не мог) создать для них хоть единый образ или впитать в себя и претворить в себе их дух и главные особенности, из которых даже самые характерные остаются до сих пор незапечатлёнными и непрославленными.

Великие поэмы, включая Шекспировы, отравны для гордости и достоинства простого народа, для жизненных соков демократии. Те литературные образцы, которые пришли к нам из других стран, из-за моря, родились при дворах, выросли в лучах солнца, светившего замкам; все они пахнут королевскими милостями. Правда, есть у нас немало писателей, работающих в своём собственном стиле. Многие из них элегантны, многие учёны и все чрезвычайно приятны. Но подойдите к ним с национальным мерилom или с теми требованиями, которые мы предъявляем демократической личности, и они обращаются в прах. Я не знаю ни одного писателя, художника, оратора или кого бы то ни было, кто шёл бы наравне с безгласными, но вечно живыми и деятельными, всепроникающими стремлениями нашей страны.

Неужели эти изящные мелкие твари могут назваться поэтами Америки? Неужели эти грошовые, худосочные штучки, эти стекляшки фальшивых драгоценных камней можно назвать американским искусством, американской драмой, критикой, поэзией?

Мне кажется, что с западных горных вершин я слышу презрительный хохот Гения этих штатов.

В молчании, не торопясь, демократия вынашивает свой собственный идеал не только для искусства и литературы, но и для человеческой личности. Идеал американской женщины (освобождённой от того допотопного и нездорового тумана, который облекает слово «леди») — женщины вполне развитой, ставшей сильным работником, равным мужчине не только в работе, но и в решении жизненных и государственных вопросов. И кто знает, может быть, благодаря своему божественному материнству, женщины станут даже выше мужчин. Материнство — вечный, высочайший, загадочный

их атрибут. Во всяком случае они могут сравниться с мужчинами, едва только захотят этого и сумеют отказаться от своих игрушек и фикций, чтобы, подобно мужчинам, столкнуться с подлинными реальностями независимой бурной жизни.

Неужели ты, о друг, полагал, что демократия существует только для выборов, для политики и для того, чтобы дать наименование партии? Я говорю: демократия нужна для грядущего, чтобы цветом и плодами войти в наши нравы, в высшие формы общения людей, в их верования, в литературу, в университеты и школы, в общественную и частную жизнь, в армию и флот...

Увы! То, о чём мы дерзаем писать, ещё не существует. Мы странствуем с неначерченной картой в руках. Но уже близятся муки родов. Мы вступили в эпоху сомнений, ожиданий, и преимущество этой эпохи заключается именно в том, что нас осеняют подобные темы: раскалённая войной и революцией наша вдохновенная речь, хотя и не выдерживает критики в отношении элегантности и связности, приобретает подлинность молнии.

Может быть, мы уже и теперь получим свою награду (ибо почти во всех странах уже и теперь есть достойные всяких наград). Хотя не для нас предназначена радость вступить победителями в завоёванный город, хотя нашим глазам и не суждено узреть могущество и блеск демократии, достигшей своего зенита и наполняющей мир сиянием такого величия, какого не знал ни один из королей и феодалов,— но для избранных уже существуют пророческие видения, есть радость участия в тревожениях нашего времени...

Демократия, как уравнительница, насаждающая общее равенство одинаковых, средних людей, содержит в себе и другой такой же неуклонный принцип, совершенно противоположный первому, как противоположны мужчина и женщина. Оба они, сталкиваясь, взаимно изменяя друг друга, часто враждуя друг с другом, обеспечивают, как это ни парадоксально звучит, равновесие, правильный баланс нашей космической, грандиозной политики.

Этот второй принцип — индивидуальная, гордая центристремительная изоляция человеческой особи, личность, персонализм.

Этот принцип, как бы он ни назывался, должен разлиться теперь по всему организму государственной демократии, образ которой, подобно Авроре, возникает над миром.

Это принцип величайшей важности. В нём наша жизнь. Он должен служить уравнительным маятником для всего механизма Америки.

И если мы вникнем поглубже, на чём зиждется сама цивилизация и какая у неё главная цель — у всех её религий, искусств, наук и т. д., — нет у неё другой цели, кроме богатого, роскошного, многообразного персонализма. К этому устремляется всё. И только потому, что демократия стремится к этому со стихийной силой Природы, только потому, что ради этой задачи она подымает необъятную целину человечества и бросает в неё свои зёрна, — только потому она имеет в наших глазах такую высокую ценность и все её притязания кажутся нам законными. Она даёт человеческой личности полный простор. Литература данной страны, её песни, эстетика и т. д. имеют значение постольку, поскольку они служат материалом и образцами для создания личности мужчины и женщины, дают ей толчок и усиливают её тысячью действенных способов. Подобно тому, как каждый отдельный штат может развиваться и крепнуть лишь благодаря могучему объединению и слиянию всех штатов, так и отдельная личность, во всех её свободных проявлениях, может расцвести пышным цветом лишь в республиканском государстве.

...Что же, однако, говоря более точно, мы разумеем под литературою Нового Света? Разве литература уже в настоящее время не процветает у нас? Разве в Соединённых Штатах не действует сейчас больше типографских станков, чем в какой-либо другой стране? Разве у нас не выходит сейчас больше изданий, чем где бы то ни было? Разве наши издатели не становятся с каждым днём всё жирней и наглей? (Пользуясь лживым и трусливым законом или, вернее, сплошным беззаконием, они набивают себе брюхо и романами, и стихами, и книгами по истории, и книгами, где даны описания природы, и даже юмористикой, не платя авторам ни единого гроша, и отвечают свирепым отказом на их робкие намёки о плате.)

Книги печатаются у нас в несметном количестве. Многим это кажется огромным успехом, но я считаю необходимым рассеять иллюзии. Страна может утопать в целых реках и океанах вполне удобочитаемых книг, журналов, романов, газет, стихотворных сборников, серийных изданий и прочей печатной продукции, — вроде той, которая циркулирует ныне у нас, — и все эти книги могут быть полезны и ценны, — сотни достаточно респектабельных, ловко написанных, не ли-

шённых учёности литературных новинок могут печататься здесь наряду с прочими сотнями или, верней, миллионами (выпущенными при помощи вышеуказанных грабительских методов) — и всё же у этой страны или нации никакой литературы, в строгом смысле этого слова, не будет.

Приходится повторить наш вопрос: что мы разумеем под истинной литературой и, особенно, под будущей демократической литературой? В этом трудном вопросе заключается много вопросов. Распутываясь, все нити ведут нас к прошедшему...

Без сомнения, были такие богатейшие, могущественнейшие, густонаселённые страны древнего мира, такие величайшие люди и величайшие события, которые не оставили нам после себя никакого наследства. Без сомнения, многие страны, героические деяния, люди, о которых мы не знаем, как их звали, где и когда они были, во много раз превосходили тех, о которых известия дошли до нас. Для иных же путешествие через безбрежное море столетий завершилось благополучно. Что же было тем чудом, которое сопутствовало и помогало плыть этим малым судёнышкам по бесконечным пучинам мрака, летаргии, невежества? Несколько писем, несколько бессмертных творений, небольших по размерам, но схватывающих бесценные сокровища воспоминаний, характеристик, нравов, наречий и верований, с глубочайшими проникновениями и мыслями, вечно связующими, вечно волнующими старое и новое тело, старую и новую душу! Они — только они! — везли и везут такой драгоценнейший груз — дорожке чести, дорожке любви! Всё лучшее, что пережито человечеством, спасено, сохранено и доставлено ими!

Некоторые из этих утлых судёнышек называются у нас Ветхий и Новый Завет, Гомер, Эсхил, Платон, Ювенал и т. д. Драгоценные атомы! И если бы пришлось выбирать, то, как бы это ни было ужасно, мы скорее согласились бы видеть разбитыми и идущими ко дну со всем своим грузом все наши корабли, находящиеся на верфях или в плавании, лишь бы не утратить вас и подобных вам и всего, что пристало к вам и выросло из вас!

Все созданные литературой герои, влюблённые, боги, войны, предания, преступления, эмоции, радости (или еле уловимый их дух), — всё это дошло до нас для озарения нашей личности и её житейского опыта. Всё это насущно необходимо, исполнено высшего смысла. И если бы это погибло, нашей потери не могли бы возместить все необъятные сокровищницы целого мира!

Эти величавые и прекрасные памятники на больших до-

рогах времён, они стоят для нас! Для нас эти сигнальные огни, освещавшие нам все наши ночи.

Безвестные египтяне, чертящие иероглифы; индус, творящий гимны и нескончаемый эпос; еврейский пророк, сжигаемый спиритуализмом, как молнией, горящий раскалённою докрасна совестью, со скорбными песнями-воплями, требующими мести за угнетение и рабство; Христос, поникший головою, как голубь, размышляющий о мире и любви; грек, создающий бессмертные образы физической и эстетической гармонии; римлянин, владеющий сатирой, мечом и законом, — иные из этих фигур далеки, затуманены, иные ближе и более видны. Данте, худой, весь один сухожилия, ни куска лишнего мяса; Анджело и великие художники, архитекторы, музыканты; пышный Шекспир, великолепный, как солнце, живописец и певец феодализма на закате его дней, блещущий избыточными красками, распоряжающийся, играющий ими по прихоти; и дальше, вплоть до германского Канта, до Гегеля, которые, хотя и близки к нам, похожи на бесстрастных, невозмутимых египетских богов, словно они перешагнули через бездны столетий. Неужели этих гигантов и подобных им мы были не в праве приравнять к планетам, планетным системам, носящимся по вольным тропам в пространствах иного неба, космического интеллекта, души?

Вы, могучие и светозарные! Вы возрастали в своей атмосфере не для Америки, но для её врагов-феодалов, а наш гений — современный, плебейский. Но вы могли бы вдохнуть своё живое дыхание в лёгкие нашего Нового Света, — не для того, чтобы поработить нас, как ныне, но на потребу нам, чтобы взрастить в нас дух, подобный вашему, чтобы мы могли (смеем ли мы об этом мечтать?) подчинить себе и даже разрушить то, что вы оставили нам? На ваших высотах — даже выше и шире — должны мы строить для здесь и теперь! Мне нужно могучее племя вселенских бардов с неограниченной, неоспоримой властью. Явитесь же, светлые демократические деспоты Запада!

Таковыми беглыми чертами мы отметили в своём воображении, что такое настоящая литература той или иной страны, того или иного народа. Если сравнить с нею кипы печатных листов, затопивших Америку, то, по аналогии, они окажутся не лучше тех морских областей, где движется, вздымаясь и волнуясь, густая масса мелких каракатиц, сквозь которую плывёт пожирающий её кит, наполовину высунув из воды свою голову.

И, однако, без сомнения, наша, так называемая, текущая литература (подобно непрерывному потоку разменной монеты) выполняет известную, быть может необходимую, службу. Служба подготовительная — подобно тому, как дети учатся читать и писать. Всякий что-то читает, и чуть ли не всякий пишет — пишет книги, участвует в журналах и газетах. В конце концов и эта литература грандиозна по-своему. Но идёт ли она вперёд? Подвинулась ли она вперёд за всё это долгое время? Есть что-то внушительное в этих больших тиражах ежедневных и еженедельных изданий, в горах белой бумаги, нагромождённых по кладовым типографий, и в гордых, грохочущих десятицилиндровых печатных машинах, на работу которых мне любо во всякое время смотреть и смотреть, — остановиться и смотреть целый час. И таким образом (хотя Штаты в области литературного творчества не создали ни одного великого произведения, ни одного великого писателя) нашими авторами всё же достигается главная цель — забавлять, щекотать, распространять новости и слухи о новостях, складывать рифмы и читать эти рифмы, — этим заняты они до бесконечности. В наши дни, при соревновании книг и писателей, особенно романистов, так называемый успех достаётся тому (или той), кто бьёт на низкопробную пошлость, на сенсацию, на аппетит к приключениям, на зубоскальство и проч., кто описывает, применительно к среднему уровню, чувственную внешнюю жизнь. У таких (у наиболее удачливых) бесконечное множество читателей, доставляющих им изрядную прибыль. Но число этих читателей уже перестало расти. А у авторов, изображающих внутреннюю, духовную жизнь, хоть и маловато читателей, и хоть этим читателям зачастую нехватает горячности, но зато их число неизменно.

По сравнению с прошлым наша современная наука парит высоко, наша журналистика очень неплохо справляется с делом, но литература художественная, даже самая заурядная, не слишком-то быстро движется вперёд. Взгляните на груды современных романов, рассказов, театральных пьес и т. д. Всё та же бесконечная цепь хитросплетений и выпрененных любовных историй, унаследованных, повидимому, от старых европейских Амадисов и Пальмеринов XIII, XIV и XV веков. Костюмы и обстановка приноровлены к настоящему времени, краски горячее и пестрее, уже нет ни людоедов, ни драконов, но самая суть не изменилась нисколько, — всё та же чувствительность, деланность, ни хуже, ни лучше.

Где же причина того, что в литературе нашего времени и нашей страны, особенно в поэзии, не видно ни нашего

здешнего мужества, ни нашего здоровья, ни Миссисипи, ни дюжих людей Запада, ни южан, ни физических, ни умственных явлений? Вместо этого — пригоршни франтов, разочарованных в жизни, и бойких, маленьких заграничных господ, которые затопляют нас своими тонкими салонными чувствами, своими зонтиками, романсами и щёлканьем рифм (пятисотая категория ввоза). Они вечно хнычут и ноют, гоняясь за каким-нибудь недоноском мечты, и вечно заняты катаральной любовью с катаральными женщинами. Между тем, с невиданной красотой и стремительностью проносясь над подмостками нашего континента (и всех остальных), величайшие события и революции дают писателям новые темы, открывают им новые дали, предъявляют им новые величайшие требования, зовут к дерзновенному созиданию новых литературных идей, вдохновляемых ими, стремящихся парить в высоте, служить высокому, большому искусству (то есть, другими словами, служить богу, служить человечеству). Но где же тот автор, та книга, которые не стремятся идти по проторённой тропе, повторять то, что было сказано раньше, обеспечивая себе этим путём и элегантность, и лоск образованности, и, главное, рыночный сбыт? Где тот автор, та книга, которые поставили бы себе более высокую цель?..

Слишком долго наш Народ внимал поэмам, в которых неполноценный простой человек униженно склоняется перед высшими, признавая их право на власть. Не Америке внимать этим поэмам. Пусть в песне чувствуется не согбенная спина, а горделивость, уважение человека к себе, и эта песня будет усладой для слуха Америки.

Да и настоящее золото и драгоценные камни, когда, наконец, они явятся в мир, явятся отнюдь не там, где их ждали. Пока что юный гений американской поэзии, чуждаясь утонченных заграничных, позолоченных тем, всяких сентиментальных, мотыльковых порханий, приятных правоверным издателям и вызывающих спазмы умиления в литературных кружках, ибо можно быть спокойно уверенным, что эти темы не раздражат нежной кожицы самой деликатной, паутинной изысканности, — юный гений американской поэзии спит далеко от нас, по счастью, ещё никем не замеченный, не изуродованный никакими кружками, никакими эстетами — ни говорунами, ни трактирными критиканами, ни университетскими лекторами, — спит в стороне, нисколько не заботясь о себе, спит в каких-нибудь западных крылатых словах, в бойких перебранках туземцев Мичигана или Тенесси, в речах пло-

щадных ораторов<sup>1</sup>, или в Кентукки, или в Джорджии, или в Каролинах, спит в уличном говоре, в местной песне и едком намёке мастерового Манхаттана, Бостона, Филадельфии, Балтиморы, или выше, в Мэнских лесах, или в лачуге калифорнийского рудокопа, или за Скалистыми горами, или вдоль Тихоокеанской железной дороги, или в сердцах у молодых фермеров северо-запада, или в Канаде, или у лодочников наших озёр. Жестка и груба эта почва, но только на такой почве и от таких семян могут приняться и со временем распуститься цветы с настоящим американским запахом, могут созреть наши, воистину наши, плоды.

Было бы вечным позором для Штатов, было бы позором для всякой страны, отличающейся от прочих таким огромным и разнообразным пространством, таким изобилием природных богатств, такой изобретательской смёткой, такой великолепной практичностью, — было бы позором, если бы эта страна не воспарила над всеми другими, не превзошла бы их все также и самобытным стилем в литературе, в искусстве, собственными шедеврами в интеллектуальной и артистической области, прототипами, отражающими её самое. Нет страны, кроме нашей, которая хоть как-нибудь не оставила бы своего отпечатка в искусстве. У шотландцев есть свои баллады, в которых до тонкости отразилось их прошлое, их настоящее, целиком сказался характер народа. У ирландцев — свои. У Англии, у Италии, у Франции, у Испании — свои. А у Америки? Повторяю опять и опять: не видно даже первых признаков, что в ней рождается соответствующий её величию творческий дух, а вместе с ним и первоклассные произведения искусства, — между тем, у неё есть богатейший сырой материал, о котором другие народы не смели и думать, ибо в одной только четырёхлетней войне скрыты целые россыпи золотой руды, целые залежи эпоса, лирики, повести, музыки, живописи и т. д.

.....

---

<sup>1</sup> В подлиннике: stump-speech — речь, произнесённая человеком, взгромоздившимся на какой-нибудь пень.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ИЗ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОБ УИТМАНЕ

### I. ПИСЬМО ЭМЕРСОНА К УИТМАНУ

Милостивый государь!

Только слепой не увидит, какой драгоценный подарок ваши «Листья травы». Мудростью и талантом они выше и самобытнее всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю эту книгу, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье. Это именно то, чего я всегда добивался, потому что слишком бесплодны и скудны становятся здесь, на Западе, души людей, будто они изнурились в чрезмерной работе или у них малокровие, и они обрюзгли, разжирели. Поздравляю вас с вашей свободной и дерзкой мыслью. Радуюсь ей бесконечно. Для своих несравненных образов вы нашли несравненные слова, как раз такие, какие нужны. Всюду обаятельная смелость манеры, которую может внушить только истинная широта мировоззрения.

У порога великого поприща приветствую вас! К этому поприщу вас, несомненно, привёл какой-то долгий и трудный путь.

Мне так захотелось увидеть того, кто сделал мне столько добра, что я чуть было не бросил работу и не поехал в Нью-Йорк, чтобы засвидетельствовать вам уважение.

Р. В. Эмерсон.

Конкорд, Массачузетс, 21 июля 1855 года.

### II. ПИСЬМО ЭМЕРСОНА К КАРЛЕЙЛЮ

Через несколько месяцев, посылая в Англию «Листья травы» Томасу Карлейлю, Эмерсон пишет о них гораздо сдержаннее:

«В Нью Йорке нынешним летом появилась некая книга — невообразимое чудище, пугало со страшными глазами и с силой буйвола, — насквозь американская книга; я было думал послать её вам, но кому я ни давал её прочесть, всем она внушала такой ужас, все видели в ней столько безнравственности, что я, признаюсь, воздержался. Но теперь, быть может, и пошлю. Она называется «Листья травы», была написана и собственноручно набрана одним типографским наборщиком из Брук-

лина, неподалеку от Нью-Йорка, по имени Вальтер Уитман. Пробежите её, и если вам покажется, что это не книга, а просто список разных товаров, предназначенных для аукциона, раскурите ею свою трубку...»

### III. БОСТОНСКАЯ ВСТРЕЧА УИТМАНА С ЭМЕРСОНОМ

Главное, что смущало Эмерсона в книге Уитмана, — это «Адамовы дети». Так были озаглавлены стихи, посвящённые половым страстям.

Зимой 1860 г., когда Уитман, поселившись в Бостоне, готовился к печати третье издание своей книги, Эмерсон явился к нему и стал настойчиво требовать, чтобы он изъясил из неё «непристойные» строки.

«Двадцать один год назад, — вспоминает в своих мемуарах поэт, — добрых два часа прошагали мы с Эмерсоном по Бостонскому парку под этими же самыми старыми вязами. Был морозный, ясный февральский день. Эмерсон, тогда в полном расцвете всех сил, обаятельный духовно и физически, остроумный, язвительный, с ног до головы вооружённый, мог, по прихоти, свободно властвовать над вашим чувством и разумом. Он говорил, а я слушал — все эти два часа. Доказательства, примеры, убеждения, — вылазки, разведка, атака (словно войска: артиллерия, конница, пехота), — всё было направлено против основной части моих «Адамовых детей». Дороже золота была мне эта диссертация, но странный, парадоксальный урок я тогда же извлёк из неё: хотя ни на одно его слово я не нашёл никаких возражений, хотя никакой судья не выносил приговора убедительнее и основательнее, хотя все его доводы были подавляюще неотразимы, всё же в глубине души я чувствовал твёрдую решимость не сдаваться ему и пойти своим неуклонным путём. «Что же вы скажете?» — спросил Эмерсон, закончив свою речь. «Скажу лишь одно, — отвечал я со всей откровенностью, — вы правы во всём, у меня нет никаких возражений, тем не менее после ваших речей я ещё крепче утвердился в своей вере и намерен ещё ревностнее исповедывать её...» После чего мы пошли и прекрасно пообедали в «American House». С тех пор я уже не испытывал никаких сомнений, никаких угрызений совести».

### IV. МОНКЮР КОНУЭЙ НА ЛОНГ АЙЛЕНДЕ

Едва Уитман издал свою книгу, его, по совету Эмерсона, посетил молодой журналист, — священник Монкюр Дэниэл Конуэй. Это было в сентябре 1855 г. Уитман жил тогда вместе с матерью на своём родном Долгом острове. «Жара стояла страшная, — пишет Конуэй. — Термометр показывал 35 градусов. На выгоне хоть бы деревцо. Нужно быть огнепоклонником, и очень набожным, думалось мне, чтобы удер-

жаться под этаким солнцем. Куда ни глянешь, пусто, ни души. Я уже готов был вернуться, как вдруг увидел человека, которого я искал. Он лежал на спине и смотрел на мучительно жгучее солнце. Серая рубаха, голубовато-серые брюки, голая шея, загорелое, обожжённое солнцем лицо; на бурой траве он и сам часть земли: как бы не наступить на него по ошибке. Я подошёл к нему, сказал ему своё имя, объяснил, зачем я пришёл, и спросил, не находит ли он, что солнце жарче, чем нужно. «Нисколько!» — отвечал он. Здесь, по его словам, он всего охотнее творит свои «поэмы». Это его любимое место. Потом он повёл меня к себе. Крошечная комнатка глядит своим единственным окном на мёртвую пустыню острова; узкая койка, рукомоЙник, зеркальце, прибитое к стене, сосновый письменный столик, гравюра Бахуса, на другой, насупротив, Силен. В комнате ни единой книжки... У него, говорил он, два рабочих кабинета: один на верхушке омнибуса, другой на той небольшой пустынной гряде песку, которая зовётся Кони Айленд. Много дней проводит он на этом острове в полном одиночестве, как Робинзон Крузо. Литературных знакомств у него нет, если не считать той репортёрской богемы, с которой он сталкивался иногда в пивной у Пфаффа.

Мы пошли купаться, и я, глядя на него, невольно вспомнил Бахуса у него на гравюре. Жгучее солнце облекло бурой маской его шею и его лицо, но тело осталось ослепительно-белое, нежно-розовое, с такими благородными очертаниями форм, замечательных своей красотой, с такою грацией жестов. Его лицо — совершенный овал; седоватые волосы низко острижены и вместе с сединой бороды так красиво нарушают впечатление умильной детскости его лица. Первую радостную улыбку заметил я у него, когда он вошёл в воду. Если он говорит о чём-нибудь увлекательном, его голос, нежный и мягкий, замедляется, и веки имеют стремление закрыться. Невозможно не чувствовать каждую минуту истинности всякого его слова, всякого его движения, а также удивительной деликатности того, кто был так свободен в своём творчестве».

Монкюр Дэниэл Конуэй (1831—1907) был и сам человек незаурядный. Под влиянием Эмерсона он отрёкся от своих религиозных убеждений, стал пламенным бойцом за освобождение негров, за что и подвергся гонениям. Он был одним из лучших американских журналистов той поры. Им написано много книг, в том числе об Эмерсоне, Карлейле, Томасе Пэине и др.

## V. ГЕНРИ ТОРО

Тогда же Уитмана посетил замечательный американский писатель Генри Торо. В письме к одному знакомому Торо описывает свои впечатления так:

«Быть может, Уитман — величайший в мире демократ... Замечательно

могучая, хотя и грубая натура. Он в настоящее время интересуется меня больше всего... Я только что прочитал его книгу, и давно уже никакое чтение не делало мне столько добра. Он очень смелый и очень американский. Я не думаю, чтобы проповеди, все, сколько их было, могли бы сравняться с его книгой. Мы должны радоваться, что он появился. Порою мне в нём чудится сверхчеловеческое. Его не смешаешь с другими жителями Бруклина или Нью Йорка. Как они должны дрожать и корчиться, читая его. Это-то в нём и превосходно! Правда, порою мне кажется, что он меня надувает. Он такой широкий и щедрый; и только что моя душа воспарит и расширится и ждёт каких-то чудес, словно возведённая на гору, как вдруг он швырнет её вниз, — вдребезги, на тысячу кусков. Хотя он и груб и бывает бессилён, он великий первобытный поэт. Его песня — трубный глас тревоги, зазвучавший над американским лагерем. Странно, что он так похож на индийских пророков; а когда я спросил его, читал ли он их, он ответил: «Нет, расскажите о них».

Некоторыми сторонами своего творчества Торо был близок Уитману. В Америке его называют американским Руссо. Особенно ценятся его точные и вдохновенные описания природы, которую он умел наблюдать, как никто. Его книга «Вальден» переведена на русский язык и вышла в издательстве «Посредник», находившемся под руководством Л. Н. Толстого. Торо написал её в лачуге, которую построил своими руками в лесу. О нём существует обширная литература. Чехов в 80-х годах читал его записки в русском переводе и посылал их Вл. Г. Короленко (см. его письмо к Короленко от 17 октября 1887 г.).

## VI. ДЖОН ЭДДИНГТОН САЙМОНДС

«Я уверен, что для нашей молодёжи его дух был бы спасителем и плодотворен, — пишет Джон Эддингтон Саймондс в известном этюде об Уитмане<sup>1</sup>. Позволю себе рассказать, как много он сделал для меня. Подобно большинству аристократов, я воспитывался в Гэрроу и Оксфорде, где, по слабости здоровья, больше предавался наукам, чем спорту, и был на пути к тому, чтобы сделаться скучнейшим педантом. В 1865 году здоровье моё так расшаталось, что, казалось, всякое житейское поприще было предо мною закрыто. Осенью того же года мой товарищ, проф. Майерс, прочитал мне вслух одну поэму из «Листьев травы». Как сейчас, звучит его мелодичный голос, проникающий электрическим током в самые недра моего существа. Но недаром я двадцать лет был погружён в греко-латинскую культуру: мои академические предрассудки, мои литературные вкусы, изысканность и исклю-

<sup>1</sup> См. ниже стр. 212.

чительность аристократического моего воспитания, — всё это восставляло меня против закорюзлого, нескладного и грубо-угловатого поэта. Его стиль возмущал меня, но вскоре Уолт Уитман вполне излечил мою душу от этих постыдных немощей. Он научил меня понимать всю гармонию демократического научного духа и той широкой, всеобъемлющей религии, к которой современное человечество направляется идеями всеобщего братства и научного постижения мира. Он придал плоть и кровь, конкретную жизненность тому религиозному чувству, которое слагалось во мне под влиянием Гёте, римских и греческих стоиков, Джордано Бруно и основателей эволюционной доктрины. Он вселил в меня веру и заставил почувствовать, что оптимизм не блажь, не бессмыслица. Он радовал и облегчал меня в те чёрные, злые годы вынужденного безделья и умственного застоя, на которые обрёл меня недуг. И, что дороже всего, он помог мне избавиться от мелочности, узости и многих предрассудков нашего учёного сословия. Он открыл мне глаза на то, как благостна, красива, велика всякая человеческая личность, в каком бы положении она ни была. Благодаря ему я братски породнился со всеми нациями и сословиями, без различия веры, касты, религии, образования. Ему я обязан лучшими своими друзьями — сынами земли, черноработными, теми «малограмотными силачами», которых он любил воспевать».

## VII. ЛАФКАДИО ГЁРН

Лафкадио Гёрн был в юности нью-йоркским журналистом и, несмотря на всю свою любовь к Уолту Уитману, не имел возможности хвалить его в американской печати. Он мог прославлять своего любимого автора лишь по секрету, лишь в частных письмах, а публично, в газетных статьях, он должен был замалчивать «Листья травы».

Приводим его письмо к одному из друзей Уолта Уитмана:

«Я всегда по секрету чтл Уолта Уитмана и порывался не раз излить свои восторги перед публикой. Но в журналистике это не так-то легко. Попробуй похвали Уолта Уитмана, если издатель ежеминутно твердит: «Нашу газету читают в порядочных семьях». А будешь ему возражать, он скажет, что ты порнограф, любитель клубнички и проч.

Конечно, я не ставил бы Уитмана на такой высокий пьедестал, на какой его ставите вы, я не стал бы называть его гением, ибо гению, по-моему, мало одного умения творить: нужно, чтобы сотворённое было прекрасно! Материал бывает и хороший, да самое изделие — дрянь! К чему мне руда или дикие драгоценные камни, мне нужно чистое золото в дивных причудливых формах, мне нужны лепестковые грани бриллиантов! А золото Уитмана ещё смешано с глиной, с песком,

его изумруды и алмазы ещё нужно отдать ювелиру. Разве был бы Гомер Гомером, если бы океанские волны его могучих стихов не следовали одна за другой так размеренно, ритмически правильно? И разве все титаны античной поэзии не шлифовали своих слов, своих стихов по строжайшим законам искусства? Да, голос Уитмана — голос титана, но его крик заглушён; потому-то он вопит, а не поет.

Красота, есть у него, да её нужно искать. Сама она не сверкнёт на тебя, точно молния, с первой же попавшейся страницы. Прочти его книгу внимательно, вдумчиво с начала до конца, и только тогда ты постигнешь её красоту. В ней античный какой-то пантеизм, но только выше и шире: что-то звёздное и даже надзвёздное, хотя мне, признаться, в ней любо наиболее земное, земляное. Один рецензент (о, забавник!) писал: «Мистеру Уитману так же доступны красоты природы, как они доступны животному». Ах, именно эта животность для меня и драгоценна в нём, не звериная животность, а человеческая, та, которую нам раскрывают древние эллинские поэты: несказанная радость бытия, опьянённость своим здоровьем, невыразимое наслаждение дышать горным ветром, смотреть в голубое небо, прыгать в чистую, глубокую воду и сонно плыть по течению, — пусть несёт тебя, куда хочешь!.. Он — грубый, бесстрашный, весёлый, простой. Хоть он не знает законов мелодии, но голос его — голос Пана. В этом буйном магнетизме его личности, его творений, в его широких и радостных песнях, в его ощущении вселенской жизни чувствуешь лесного античного бога, фавна или сатира, не карикатурного сатира наших нынешних дешёвых классиков, но древнего, священного, причастного культу Диониса и, так же как и Дионис, обладающего даром целения, спасания, пророчества, наряду с оргийным сладострастием, которое было в ведении этого двуполого бога.

Здесь я вижу высокую красоту Уолта Уитмана, великую силу, великую вселенскую правду, возвещённую в мистических глаголах, но самый певец, тем не менее, представляется мне варваром. Вы называете его бардом; ещё бы! Его песни — как импровизации какого-то дикого скальда или лесного друида. Бард не бывает творцом, он только предтеча, только глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь для великого певца, который идёт за мною, и вы, защищая, прославляя, венчая его творения, служите литературе будущего».

В 1872 г. И. С. Тургенев настолько увлёкся поэзией Уолта Уитмана, что сам перевёл несколько его стихотворений. Когда в том же году редактор «Недели» Е. Рагозин обратился к Тургеневу с просьбой о сотрудничестве, Иван Сергеевич решил послать ему свои переводы из Уитмана. Об этом он извещает своего друга П. В. Анненкова:

«Рагозину я вместо отрывка из «Записок охотника» посылаю несколько переведённых мною лирических стихотворений удивительного американского поэта Уальта Уитмана (слыхали вы о нём?) с небольшим предисловием. Ничего более поразительного себе представить нельзя» (письмо от 12 ноября 1872 г.).

Эти переводы не появились в «Неделе», о чём, конечно, можно пожалеть: подкреплённый авторитетом Тургенева, Уитман вошёл бы в русскую литературу на 40 лет раньше, и — кто знает, какое влияние произвёл бы он на русскую поэзию. В письме от 26 ноября 1872 г. Анненков просил Тургенева прислать «хоть черновые переводы Уайтмана», но болезнь помешала Тургеневу исполнить эту просьбу приятеля; 8 декабря 1872 г. он пишет Анненкову:

«Переводы мои из Уитмана (не Уайтмана) тоже сели на мель, и потому я вам ничего пока послать не могу»<sup>1</sup>.

Беседуя в Париже в 1874 г. с молодым американским писателем Хьяльмаром Бойезеном (Boyesen) о разных литературных явлениях, Иван Сергеевич сказал, между прочим, что «некоторое время его очень интересовали произведения Уолта Уитмана: он думал, что среди куч шелухи в них имеются хорошие зёрна»<sup>2</sup>.

Уолту Уитману были известны произведения Тургенева, и он сочувственно отзывался о них. В статье «Наши именитые гости» он выразил сожаление, что в Соединённых Штатах, особенно на западе, не пришлось побывать «благородному и грустному Тургеневу» («Complete Prose» by Walt Whitman, Нью-Йорк, 1908, стр. 380).

## II

1 февраля 1889 г. Льва Толстого посетил английский отставной офицер Д. Стюарт. Толстому он не понравился. «Дикий, вполне англичанин», — неодобрительно отозвался о нём Лев Николаевич в своём дневнике. Толстой беседовал с ним о душе. Стюарт сказал, что для него душа — это тело, ибо вне материи не существует души.

При этом он сослался на Уолта Уитмана.

<sup>1</sup> «Русское обозрение», 1898, 5, стр. 24—26.

<sup>2</sup> «Минувшие годы», 1908, 8, стр. 67.

Такая философия была враждебна Толстому, и он с раздражением записал в дневнике:

«Красота тела есть душа». Уитман ему сказал это. Это его поэт».

Очевидно, Стюарт из разговора с Толстым обнаружил, что Толстой не читал Уолта Уитмана, и через несколько месяцев выслал ему «Листья травы».

11 июня 1889 г. Толстой записал в дневнике:

«Получил книги: Уитман,— стихи нелепые»...

Никакого интереса к этим «нелепым стихам» Толстой не проявил — может быть, оттого, что их рекомендовал столь чуждый ему человек. Но через несколько месяцев, в октябре того же 1889 г., некий ирландец Р. В. Коллиз (R. W. Collis) прислал ему из Дублина лондонское издание избранных стихотворений Уолта Уитмана с предисловием Эрнеста Риза (Rhys). Коллиз ещё раньше писал Толстому, что толстовские идеи во многом совпадают с идеями Уитмана, и выслал Льву Николаевичу «Листья травы», чтобы он удостоверился в этом. Толстой на этот раз отнёсся к творчеству Уитмана очень внимательно. Читая его книгу, он отчеркнул карандашом те стихи, которые показались ему наиболее ценными. Это раньше всего «Мне приснился город», которое цитирует в своём предисловии Риз.

Толстого это стихотворение, несомненно, привлекло своим призывом к безграничной любви, которая придаст человечеству несокрушимую силу:

Мне приснился город, который нельзя победить, хотя бы напали  
на него все страны земли,  
И мне снилось, что это был город Друзей, какого ещё никогда  
не бывало,  
И что выше всего в этом городе крепкая ценилась любовь...

и т. д.

Конечно, это одно из наиболее «толстовских» стихотворений Уитмана. Должно быть, такие стихи и имел в виду Коллиз, когда посылал Толстому книгу своего любимого автора.

Вслед за этим Льва Николаевича заинтересовали стихи, которые совершенно далеки от Толстого-моралиста, но близки Толстому-художнику:

Читая книгу, биографию прославленную,

И это (говорил я) зовётся у автора человеческой жизнью?

Так, когда я умру, и мою кто-нибудь опишет жизнь?

(Будто кто по-настоящему знает что-нибудь о жизни моей...)

и т. д. (см. стр. 59).

Для меня несомненно, что именно об этом стихотворении Толстой тогда же записал в дневнике от 27 октября 1889 г.:

«Читал присланного мне Уолта Уитмана. Много напыщенного, пустого, но кое-что уже я нашёл хорошего. Например, «Биография писателя». Биограф знает писателя и описывает его! Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою только изредка, изредка кое-что из меня виднелось мне».

В последних строках этой записи дан пересказ вышеприведённого стихотворения Уолта Уитмана.

Дальше Толстой отчеркнул стихотворение «Европа».

Вдруг из ветхой и сонной норы...

(См. стр. 62)

Возможно, что в этом революционном стихотворении его больше всего привлекли те строки, где с таким сочувствием говорится о раскрепощённом народе, по-толстовски отказавшемся от мести врагам:

Народ отомщает прощеньем...

Вообще он отчёркивал те произведения Уитмана, в которых находил свои собственные чувства и мысли.

В стихотворении «Я не доступен тревогам» («Me Imperturbe») он опять-таки увидел свою излюбленную мысль о независимости души человеческой от каких бы то ни было внешних событий и отчеркнул те строки, где эта мысль выражена с наибольшей рельефностью:

Где бы ни шла моя жизнь,—о, быть бы мне всегда в равновесии...  
Чтобы встретить лицом к лицу ночь, ураганы, голод, насмешки,  
удары, несчастья,  
Как встречают их деревья и животные.

Эти строки не могли не быть родственно близки писателю, который в огромную семью своих героев ввёл и старый дуб, учивший мудрости князя Андрея, и кобылу Фру-Фру, и Холстомера, и то дерево, что рубят в «Трёх смертях», и упрямо-живучий репейник, напомнивший ему судьбу Хаджи-Мурата. Кое-кого из этих животных и растений Толстой ставил в пример человечеству. Это тоже приближало его к Уитману, который в «Песне о себе» говорил о животных:

...они мне сродни, и я готов принять их,  
Знаменья есть у них, что они — это я.  
Никто из них не страдает манией стяжания вещей,  
Не чтит подобных себе, которые жили за тысячу лет...

Замечательно, что, хотя Толстой в то время работал над «Крейцеровой сонатой» и проблема половых отношений волновала его с особенной силой, сексуальные стихотворения Уитмана, насколько можно судить по тому экземпляру «Листьев травы», который был у него в руках, не

заинтересовали Льва Николаевича. В цикле «Адамовы дети» не отчёркнута ни одна строка. Зато с несомненным сочувствием он отметил такое, например, стихотворение Уитмана:

О вере, о покорности, о преданности:

Я стою в стороне и смотрю, и меня глубоко умиляет,

Что тысячи и тысячи людей идут за такими людьми, которые не верят в людей.

Есть основание думать, что Толстой имеет в виду именно вышеприведённые стихи Уолта Уитмана, когда пишет в своём дневнике, что нашёл в его книге «кое-что хорошее».

Это «хорошее» он считал полезным сообщить и русским читателям. Через несколько месяцев (21—22 июня 1890 г.) он послал «Листья травы» известному переводчику Льву Никифорову, бывшему нечаевцу (переводившему для «Посредника» Мопассана, Рескина, Мадзини), рекомендуя произведения Уитмана в таких выражениях: «...книжечка весьма оригинального и смелого поэта Уолта Уитмана. Он в Европе очень известен, у нас его почти не знают. И статья о нём с выборкой переведённых его стихотворений будет, я думаю, принята всяким журналом, «Русской мыслью», я уверен — тоже могу написать...»

Возможно, что Толстой хотел, чтобы главным образом были переведены именно те стихи, которые он отметил карандашом в посылаемом им экземпляре. Может быть, он для того и отмечал эти стихи, чтобы их перевёл Лев Никифоров.

Во всяком случае ясно, что отношение к Уитману было у него в ту пору далеко не враждебное. Он признавал и оригинальность, и смелость американского поэта и считал необходимым (как в своё время Тургенев) пропагандировать его произведения в русской печати. Но и на этот раз стихам Уитмана не довелось появиться в России. Эта третья попытка познакомить с ним русских читателей осталась такой же бесплодной, как и две предыдущие.

В 1894 г. — через два года после смерти Уитмана — одна американская писательница, Элизабет Портер Гоолд (Gould), прислала Толстому из Бостона составленный ею сборник под претенциозным заглавием: «Жемчужины из Уолта Уитмана» (Филадельфия, 1889).

Толстой, должно быть, не рассматривал этих «Жемчужин», так как на книге (она сохранилась в библиотеке Толстого) нет никаких читательских пометок.

Мнения Толстого о поэтах вообще очень часто менялись в зависимости от того, в какой полосе душевного развития находился в данный период Лев Николаевич. Известны отрицательные его отзывы о Некрасове после того, как он называл некоторые стихи Некрасова «превосходными самородками» и заучивал их наизусть. Поэзию Фета он почти тридцать лет любил особенной, я бы сказал — братской любовью, потом, под влиянием тех новых требований, которые он стал предъяв-

влять к искусству в последние годы, Толстой назвал его «сомнительным поэтом» и отрёкся от своей прежней любви.

Отчасти такая же судьба постигла спустя некоторое время и Уитмана. Толстой, как бы зачёркивая то «хорошее», что он нашёл в «Листьях травы», сказал об Уитмане своему английскому переводчику, известному толстовцу Эйлмеру Мооду (Maude):

«Главный недостаток Уолта Уитмана заключается в том, что он, несмотря на весь свой энтузиазм, не обладает ясной философией жизни. Относительно некоторых важных вопросов жизни он стоит на распутьи и не указывает нам, по какому пути должно следовать. А между тем, ошибки и недосмотры ясно сознающего человека могут быть более полезны, чем полуправды людей, предпочитающих оставаться в неопределённости... Во всех отношениях и по всякому поводу выражение ваших мыслей таким образом, что вас не понимают, плохо...»<sup>1</sup>

Можно опасаться, что Эйлмер Моод в своём пересказе толстовского мнения незаметно для себя самого несколько усилил отрицательный отзыв Толстого, так как сам питал антипатию к Уитману. По крайней мере, когда Толстой 21 июня 1900 г. передавал через английского писателя Эдуарда Гарнетта приветствие американскому народу, он в «блестящую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе», включил и Уолта Уитмана<sup>2</sup>.

Так как Толстой не стал бы включать Уитмана в эту плеяду из одной только международной учтивости, несомненно, что и в 1900 г. он продолжал признавать в «Листьях травы» то «хорошее», что он нашёл в них при первом чтении, в 1889 г.

Наше предположение, что Моод не совсем верно передал отзыв Толстого об Уитмане косвенно подтверждается подлинной записью Льва Николаевича, где тот же самый отзыв изложен совершенно иначе. Вот эта запись:

«14 января 1907.

То, что многие, огромное большинство людей называют поэзией — это — только неясное, неточное выражение глубоких мыслей. Уолт Уитман и др.» (Дневник Толстого, «Сборник Государственного толстовского музея», стр. 86.)

Это совсем не то, что говорится у Моода. Во-первых, в неясности Толстой упрекает здесь не одного Уолта Уитмана, а очень многих других поэтов, во-вторых, он и здесь признаёт, что Уитману были свойственны глубокие мысли.

Толстому не могло не быть известно, что в американской критике его неоднократно сближали с Уолтом Уитманом. Один из наиболее видных заокеанских толстовцев, Эрнест Кросби, в своей книге, посвящённой Толстому, подтверждал многие идеи Толстого цитатами из

<sup>1</sup> «Минувшие годы», 1908, № 9.

<sup>2</sup> См. 72-й том юбилейного издания Толстого, стр. 400.

«Листьев травы» (см. Эрнест Кросби, Толстой и его жизнеописание. Перевод с английского. Издание «Посредника», 1911) <sup>1</sup>.

Одно время сближение творчества Льва Толстого с поэзией Уолта Уитмана вошло в обиход и в России. В 1892 г. один из петербургских журналов так и озаглавил свой некролог, посвящённый автору «Листьев травы»: «Американский Толстой» («Книжки Недели», 1892, 5, стр. 167).

Конечно, подобные сближения бесплодны. Они основаны на мёртвом, схематическом понимании искусства. Столь различны художественные индивидуальности обоих писателей, что видеть в них каких-то близнецов могут лишь те отвлечённые люди, которые совершенно слепы к живой, конкретной поэтической форме.

Но крайне знаменательным остаётся тот факт: что Толстой ещё в эпоху «Крейцеровой сонаты» и «Плодов просвещения» с несомненной симпатией отнёсся к творчеству Уолта Уитмана и даже пытался пропагандировать его среди русских читателей.

Уитману были известны некоторые произведения Толстого. «В нём далеко не всё привлекает меня,—говорил он Горэсу Тробелу.—Многое даже отталкивает, например, его аскетизм. И всё же он — огромный человек, и путь его — верный путь».

## УИТМАН И МАЯКОВСКИЙ

В истории русского символизма поэзия Уолта Уитмана сыграла весьма незначительную роль. Уолт Уитман не вошёл в ту плеяду западноевропейских и американских писателей, под воздействием которой «на рубеже двух столетий» находился русский символизм. Его нет среди таких первоначальных вдохновителей символистского искусства в России, как Эдгар По, Малларме, Ницше, Ибсен, Метерлинк, Эмиль Верхарн, Беклин, Бердсли и многие другие. Бальмонт начал писать о нём и переводить его слишком поздно, когда символизм вступал уже в пору упадка. Характерно, что ни в творчестве самого Бальмонта, ни в творчестве других символистов стиль и тематика Уитмана не отразились никак.

Другое дело — русский футуризм. Хотя в своих манифестах представители этого течения нигде не объявляли себя уитманистами, их писания, особенно в первый период их деятельности, носят явный отпечаток поэтики Уитмана.

Велемир Хлебников в начале своего литературного поприща находился под сильным влиянием американского «барда».

<sup>1</sup> Это тот самый Кросби, который написал антишекспировскую брошюру «Отношение Шекспира к рабочему люду». В виде предисловия к этой брошюре и была напечатана знаменитая статья Льва Толстого «О Шекспире и о драме». Замечательно, что мнения Уолта Уитмана о Шекспире во многих отношениях приближаются к толстовским.

По словам Д. Козлова, поэт «очень любил слушать Уитмана по-английски, хотя и не вполне понимал английский язык»<sup>1</sup>.

Поэма Хлебникова «Сад», помещённая в первом «Садке Судей» (1910), кажется типическим произведением автора «Листьев травы» и напоминает, главным образом, тот отрывок из «Песни о себе», который начинается словами: «Пространство и время» (раздел 33).

У и т м а н:

Где пантера снуёт над головою по сучьям, где охотника бешено  
бодает олень,  
Где гремучая змея нежит под солнцем свою вялую длину на скале,  
где выдра глотает рыбу,  
Где алигатор спит у канала, весь в затверделых прыщах,  
Где рыщет чёрный медведь в поисках корней или мёда, где бобр  
стучит по болоту веслообразным хвостом...

Х л е б н и к о в:

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит,  
чем груды прочтённых книг.

Сад,

Где орёл жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребёнок...

Где чёрный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные  
ласты, с движениями человека, завязанного в мешок,  
и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему  
в себе приступы неудержимого веселья..

Где утки одной породы поднимают единодушный крик после  
короткого дождя, точно служа благодарственный молебен  
утиному — имеет ли оно ноги и клюв! — божеству.

Где толстый, блестящий морж машет, как усталая красавица,  
скользкой чёрной веерообразной ногой и потом прыгает  
снова на помост, на его жирном, грузном теле показывается  
с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.

Не только структура стиха, но и многие мысли «Сада» заимствованы Хлебниковым у автора «Листьев травы». Например, мысль о том, что «взгляд зверя больше значит, чем груды прочтённых книг», многократно повторялась в стихотворениях Уитмана. (Тем не менее необходимо признать, что образность «Сада» — чисто хлебниковская, выходящая за пределы поэтики Уитмана.)

В предисловии к сборнику стихотворений Велемира Хлебникова редактор книги Н. Л. Степанов указывает, что «языческое восприятие

<sup>1</sup> «Красная новь», 1928, № 8, стр. 179.

природы родственно пантеизму поэта американской демократии Уитмана, которого чрезвычайно высоко ценил Хлебников»<sup>1</sup>.

Всю группу так называемых кубофутуристов сближала с Уитманом ненависть к общепринятой тривиальной эстетике, тяготение к «грубой», «неприглаженной» форме стиха.

Московский «лучист» Михаил Ларионов, проповедуя в «Ослином хвосте» свои взгляды, ссылаясь на Уолта Уитмана как на союзника и пространно цитировал его стихи о подрывателях основ и «первоздателях»<sup>2</sup>.

В петербургском эгофутуризме наблюдается такой же культ Уолта Уитмана. Там появился рьяный уитманист Иван Оредеж, который старательно пародировал «Листья травы»:

Я создал вселенные, я создал мириады вселенных,  
ибо они во мне,

Жёлтые с синими жилками груди старухи прекрасны,  
как сосцы юной девушки,

О, дай поцеловать мне тёмные зрачки твои, усталая  
ломовая лошадь...

и т. д. («Петербургский глашатай», 1912, № 11)

Это почти подстрочник, и о другой поэме того же писателя, помещённой в альманахе «Оранжевая урна», Валерий Брюсов воскликнул:

«Что же такое эти стихи, как не пересказ «своими словами» одной из поэм Уолта Уитмана?»<sup>3</sup>

Как известно, в начале своей литературной работы под влиянием «Листьев травы» находился и Владимир Маяковский. Ему в то время весьма импонировала роль Уитмана в истории всемирной поэзии как разрушителя старозаветных литературных традиций, проклинаемого «многоголовою вошью» мещанства. Уолт Уитман был дорог ему как предтеча.

Из стихов Уолта Уитмана, которые я прочитал Маяковскому в 1913 г. (в неизданных моих переводах), он выделил, главным образом, те, которые были наиболее близки к его собственной тогдашней поэтике:

Под Ниагарой, что, падая, лежит, как вуаль у меня на лице...

Запах пота у меня подмышками ароматнее всякой молитвы.

Я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой.

Мне не нужно, чтобы звёзды спустились ниже.

Они и там хороши, где сейчас...

Страшное, яркое солнце, как быстро ты убило бы меня,

Если б во мне самом не всходило такое же солнце.

<sup>1</sup> «Библиотека поэта». Малая серия, № 59. В. Хлебников. Стихотворения, стр. XI.

<sup>2</sup> «Ослиный хвост и мишень», Москва, 1913, стр. 85.

<sup>3</sup> «Русская мысль», 1913, март.

Зимой 1914 г., встретившись со мной в Ленинграде, он опять заговорил об Уолте Уитмане и стал деловито расспрашивать меня об его биографии. Было похоже, что он примеряет его биографию к своей:

— Как Уитман читал свои стихи на эстрадах? — Часто ли бывал он освистан? — Носил ли он какой-нибудь экстравагантный костюм? — Какими словами его ругали в газетах? — Ниспровергал ли он Шекспира и Байрона?

Когда же я начинал рассказывать ему такие эпизоды из биографии Уитмана, которые не имели отношения к этим вопросам, он просто переставал меня слушать, переводил разговор на другое. Впоследствии я заметил, что ему всегда были невыносимы бесцельные знания, не могущие служить его боевым или творческим надобностям.

Увидя, что в Уолте Уитмане его интересует лишь то, что перекликается с его собственным творчеством, я стал переводить ему, главным образом, такие стихи:

Сусальное солнце! проваливай! не нуждаюсь в твоей  
тёпленькой ласке.

Ты лишь верхи озаряешь, а я добираюсь до самых глубин.

Или:

Эй ты, импотент с развинченными коленями!

Открой свою замотанную тряпками глотку, я вдую в тебя песок!

Эти «маяковские» строки вызвали его одобрение, хотя он и прибавил при этом, что их следовало бы написать энергичнее.

— Они вяло сделаны, я написал бы их лучше! — утверждал он без малейшего задора, просто констатируя факт.

Это было позднее, в Куоккале, в 1915 г., во время июльского зноя, когда он часами пролеживал у меня на диване, перелистывая «Аполлон» и «Золотое руно». В один из таких дней к нам по пляжу пришёл Кульбин, страстный поклонник Уитмана, вечно цитировавший из него — перевирая! — наиболее эффектные строки.

Маяковский в тот день был задумчивый, тихий и очень усталый. Он долго слушал Кульбина и меня, а потом медленно, без всякой запальчивости, как бы говоря сам с собою, стал порицать Уолта Уитмана за то, что тот был недостаточно верен себе в своей борьбе за революционные формы искусства и делал слишком большие уступки врагам. Чувствовалось, что и здесь Маяковский примеряет его биографию к своей и сознаёт себя мужественнее, прямее и сильнее его. Тут же обнаружилось, что из всех стихотворений Уитмана Маяковскому больше всего по душе его «Песня о себе» (озаглавленная в первом издании «Уолт Уитман») и в ней те места, где Уитман повествует о своих превращениях:

Я женщина, которую обнимает любовник...

Я холерный больной, лицо мое стало, как пепел...

Я этот загнанный негр, это я от собак отбиваюсь ногами...

и проч.

Не это ли чувство «тождества», «идентичности», «со-страдания» с другими людьми так громко сказалось в тогдашних вещах Маяковского (например, в поэме «Война и мир»)?

Никогда не был Маяковский подражателем Уитмана, никогда Уитман не влиял на него так неотразимо и сильно, как Байрон на Мицкевича или Гоголь на раннего Достоевского. Маяковский уже к двадцатидвухлетнему возрасту сложился в самобытнейшего из русских поэтов — со своей собственной темой, со своим собственным голосом. В Уолте Уитмане он видел не учителя, а как бы старшего собрата и соратника.

Но нет сомнения, что в те годы, когда он создавал свой поэтический стиль, полный реализованных метафор, эксцентризмов, гипербол, в этот сложный многославный стиль одним из ингредиентов вошёл и стиль другого бунтаря — Уолта Уитмана.

Определить этот ингредиент очень трудно, потому что в чистом виде он проявляется редко. Вот несколько наиболее заметных примеров. Уитман в «Песне о себе» с первых же строк отмечает свой возраст:

Я, тридцати семи лет, в полном здоровьи, эту песню мою  
начинаю.

Маяковский в «Облаке в штанах» повторяет этот эксцентризм:

Иду красивый, двадцатидвухлетний.

Молитва о том, чтобы мальчики стали отцами, «а девочки забеременели», которую Маяковский произносил пародийно-набожным басом диакона, тоже ведёт, как мне кажется, своё происхождение от Уитмана.

Ещё большее влияние Уитмана сказалось в поэме «Человек», где есть такие уитманские строки:

...если весь я —  
сплошная невидаль,  
если каждое движение моё —  
огромное,  
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.

В каждой

дивитесь пятилучию.

Называется «Руки».

Пара прекрасных рук!

Заметьте:

справа налево двигать могу

и слева направо.

Заметьте:

лучшую  
шею выбрать могу  
и обовьюсь вокруг...  
у меня  
под шерстью жилета  
бьётся  
необычайнейший комок...

Конечно, я привожу слишком элементарные, наглядные случаи. Дело не в сходстве отдельных стихов, которое зачастую может быть совершенно случайным, а в общем — революционном — направлении поэзии, в дерзком новаторстве стиля. Маяковский был не безродный поэт, как чудилось многим его современникам. У него были могучие предки, наследство которых он принял и великолепно использовал. Одним из этих предков, наряду с Гейне, был Уитман.

А. Старцев, рецензируя в 1936 г. книгу переводов из Уолта Уитмана, говорит: «Читатель, впервые знакомящийся с Уитманом, неизбежно будет воспринимать его через Маяковского (в первую очередь раннего Маяковского, но не только). Читатель, уже знающий Уитмана, тоже с величайшим интересом отнесётся ко всем материалам, свидетельствующим о том или ином влиянии поэзии Уитмана на Маяковского»<sup>1</sup>.

Катарина Причард, известная австралийская писательница, в статье «Памяти Маяковского» пишет: «Подобно Уитману, Маяковский отвергает поэтические каноны, язык, тематику, которые веками предписывались поэзии. Но Маяковский избрал более прямой путь к нашему сознанию и сердцу, чем Уитман. В стихах Уитмана всё же есть отвлечённость и многословие, которые отдаляют его от рабочего читателя. Маяковский говорит просто и ясно»<sup>2</sup>.

На проблеме уитманизма Маяковского останавливается А. Дымшиц в своей работе о Маяковском.

«Нигде у Маяковского, — говорит он, — увлечение Уитманом не сказывалось так сильно, как именно в поэме «Человек». В трагедии некоторые выражения выглядели почти как реминисценции из Уитмана («Я вам открою словами простыми, как мычанье» и т. д.); в «Облаке» целый ряд гротескных сравнений как бы дублировал уитмановские... Теперь же в «Человеке» появились целые образы уитмановского «происхождения». От Уитмана пошли и своеобразно «апостольские» эпико-повествовательные интонации, словно пародирующие стиль проповеди:

Священослужителя мира, отпустителя всех грехов —  
солнца ладонь на голове моей,

<sup>1</sup> «Литературная газета», 10 января 1936 г.

<sup>2</sup> «Интернациональная литература», № 7—8, 1940 г.

Благочестивейшей из монашествующих — ночи  
облачение на плечах моих.

Дней любви моей тысячелютое евангелие целую.

От Уитмана шли и многие гиперболы-образы и гиперболы-сравнения, передававшие трагедийную дисгармонию между человеком и миром и диспропорцию между человеком и вещью в капиталистическом обществе. Уитман оказался для Маяковского одним из самых активно воздействовавших на него поэтов. Пожалуй, ни до «Человека», ни после ни один поэт так явственно на него не «влият».

Но, разумеется, и в этом случае нельзя всерьёз, в традиционном смысле, говорить о влиянии. Маяковский был слишком оригинален во всех своих проявлениях, был всецело новатором, чтобы испытывать чьё бы то ни было покоряющее воздействие. И «уитманизмы» у него входили полностью в его своеобразную поэтическую систему, входили творчески переработанные и подчинённые» (А. Дымшиц, Владимир Маяковский, «Звезда», № 5—6, 1940 г.).

И всё же стихи Уолта Уитмана, так широко распространённые в русских изданиях в те годы, когда начал творить Маяковский, в какой-то мере облегчили тогдашним читателям восприятие «Облака в штанах» и других произведений молодого поэта. Новаторство Маяковского менее пугало тех, кто успел привыкнуть к новаторским произведениям автора «Листьев травы». Таким образом, стихи Уолта Уитмана послужили для многих как бы преддверьем к стихам Маяковского. Чрезвычайно типично письмо, полученное Маяковским от одного рядового читателя в 1918 г. Этот читатель, высказывая свою горячую любовь к его творчеству и находя во многих его стихах «элементы пролетарской поэзии», тут же сообщает Маяковскому, что «из иностранцев» он любит Уитмана и Верхарна. «Страстно ищущ проблем нового, социалистического искусства, нового мироощущения в поэзии», — пишет он в том же письме. И так как в ту пору эти проблемы виделись ему (как и многим тогдашним читателям) именно в произведениях Верхарна и Уитмана, он и объединил в своих симпатиях Маяковского с этими двумя «иностранцами»<sup>1</sup>.

Недаром А. В. Луначарский, увидевший в поэзии «Листьев травы» «победу над индивидом, торжество человечества, смерть эгоизма», указал в постскрипуме к статье, посвящённой Уитману:

«Своеобразным путём, но в том же направлении, шёл в лучших своих вещах и В. В. Маяковский»<sup>2</sup>.

Мартин Андерсен Нексе, известный датский писатель, прислал в Союз советских писателей письмо, где между прочим писал:

«Даже в переводе поражаешься гениальности Маяковского... Он напоминает как Петёфи, так и Уолта Уитмана»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1936, № 22.

<sup>2</sup> «Уолт Уитман». Избранные стихотворения. М., 1932, стр. 6.

<sup>3</sup> «Литературная газета», 1941, № 15.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Для настоящего издания я пользовался следующими английскими и американскими книгами, посвященными жизни и творчеству Уитмана:

1) «Walt Whitman» by R. M. Bucke. Philadelphia, 1883. — Р. М. Бекк, «Уолт Уитман». Первая по времени биография Уитмана, написанная при жизни поэта одним из его ближайших последователей. В этой восторженной книге собраны ранние отзывы английской и американской печати о поэзии Уолта Уитмана, а также воспроизведена знаменитая брошюра О'Коннора «Добрый седой поэт». Эту книгу проредактировал Уитман. Многие её страницы написаны им самим. Бекк — доктор медицины, мистик, автор книги «Космическое сознание», переведённой на русский язык петербургскими антропософами (издательство М. Суворина «Новый человек», П., 1914). В этой книге Уитман сопоставляется с Буддой, Иисусом Христом, Магометом.

2) «Whitman». A Study by John Burroughs. Boston and New York. — Джон Борроз. «Уитман». Многословная, пухлая, водянистая книга. Джон Борроз (род. 1837), плодовитый американский писатель, друг Уолта Уитмана, писал, главным образом, о природе, о цветах и птицах. Его специальность — описательная зоология и ботаника. Многие страницы этой книги были тоже написаны при ближайшем участии Уитмана.

3) «Studies in Literature» by Edward Dowden. London, 1892 — Эдуард Дауден. «Литературные этюды». Почтенный автор исследования о Шекспире посвятил Уитману большую статью «Поэзия демократии». Она была напечатана при жизни Уитмана в английском журнале «Westminster Review» («Уэстминстер Ривью», июль, 1871).

4) «Walt Whitman». A Study by John Addington Symonds. London, 1893. — «Уолт Уитман». Этюд Джона Эддингтона Саймондса. Горячо написанная апология Уитмана. Опыт систематизации философских воззрений поэта. Саймондс — известный английский критик и поэт (1840—1893), автор книги «Ренессанс в Италии». В настоящем издании приводится отрывок из его этюда об Уитмане (см. стр. 197).

5) «Walt Whitman» by Isaac Hull Platt. Boston, 1904. — Айзек Халл Платт «Уолт Уитман». — Суховатая, бесстрастная книжка с приложением хронологической таблицы.

6) «Life of Walt Whitman» by Henry Bryan Binns. London, 1905.—Генри Брайан Биннс, «Жизнь Уолта Уитмана». Наивная елейная книга, превращающая жизнь поэта в житие святого. Написана английским поклонником Уитмана. В ней много непроверенных фактов, опровергнутых позднейшими исследованиями.

7) «Days with Walt Whitman» by Edward Carpenter. London, 1906.—Эд. Карпентер. «Дни с Уолтом Уитманом». Карпентер (1844—1929), друг, поклонник и ученик Уолта Уитмана, подробно описал свои паломничества к нему в 1877 и в 1884 гг., встречи и разговоры с ним. К книге приложены статьи: «Уитман как пророк», «Поэтическая форма «Листьев травы», «Дети Уолта Уитмана», «Уитман и Эмерсон».

8) «Walt Whitman, His Life and Work by Bliss Perry, London, 1906.—Блисс Перри. «Уолт Уитман, его жизнь и творчество». Автор относится к Уолту Уитману чуть-чуть свысока и стремится разрушить легенды, которыми окружили имя Уитмана такие поклонники, как Ричард Бекк и др.

9) «Familiar Studies of Men and Books» by R. L. Stevenson, London, 1912.—Роберт Стивенсон. «Непринуждённые заметки о людях и книгах». Знаменитый английский романист Роберт Луиз Стивенсон в юности был почитателем Уитмана, написал о нём горячую статью, но потом устыдился молодого восторга и внёс в свой втюд о любимом поэте немало иронических строк. В результате получился почтительно-насмешливый отзыв, где дифирамбы чередуются с жестокими шутками. В личности Уолта Уитмана, по ощущению критика, великий поэт сочетается с самым забавным педантом.

10) «With Walt Whitman in Camden» by Horace Traubel. Boston, 1906—1914.—Горас Тробел. «С Уолт Уитманом в Кемдене». Огромная трёхтомная книга, дневник преданного друга Уолта Уитмана, где подробно записаны ежедневные беседы с престарелым поэтом. Имеет величайшую ценность для всякого, кто желает поближе познакомиться с личностью Уитмана.

11) «The Magnificent Idler. The Story of Walt Whitman» by C. Rogers, Camden City, N. Y., 1926.—Камерон Роджерс. «Великолепный лодырь. История Уолта Уитмана». Беллетризованная биография Уитмана. Бойкая, поверхностная книга, сделанная по готовым шаблонам. Порочность её жанра особенно ясно видна в тех частях, где автору приходится заполнять воображением «пустые места» биографии Уитмана, то есть выдумывать факты, для описания которых у него нет никаких материалов, например, любовные похождения Уитмана в Новом Орлеане и Нью-Йорке. В некоторых частях книги видно добросовестное изучение источников.

12) «Whitman» by Edgar Lee Masters. New York, 1937.—Эдгар Ли Мастерс. «Уитман». Автор — современный американ-

ский поэт, известный русским читателям по переводам М. Зенкевича в «Антологии американской поэзии» (М. 1938). Несмотря на то, что Мастерс в своём поэтическом творчестве является продолжателем Уитмана, он относится к своему учителю очень сурово и требовательно. Особое внимание он уделяет сексуальным проблемам, связанным с жизнью и творчеством Уитмана. Лучшие страницы его книги посвящены описанию юности Уитмана, а также критическому анализу цикла «Адамовы дети».

13) «Whitman» by Newton Arvin. New York, 1938. — Нью-тон Арвин. «Уитман». Эта книга стоит особняком во всей обширной литературе об Уитмане. В отличие от прочих исследователей Нью-тон Арвин ставит наиболее сильный акцент на политических убеждениях поэта. Впервые подробно обследовав публицистические статьи и заметки Уитмана, погребённые в мелких американских газетах 40-х и 50-х годов, автор не только не скрывает реакционных элементов в тогдашнем мировоззрении поэта, но, напротив, выпячивает их очень рельефно. Свою главную задачу он видит именно в том, чтобы, ничего не утаивая, показать с конкретной наглядностью, что реакционные тенденции, присущие творчеству Уитмана, всегда были побеждаемы тенденциями противоположного рода. Так, хотя бунтарство уживалось в поэте с умеренным либерализмом, а научный материализм — с мистикой, но всегда брали верх прогрессивные идеи и чувства, которые и сделали Уитмана глашатаем передового человечества. К сожалению, на всём протяжении этой солидно документированной книги автор очень редко вспоминает, что Уитман — поэт. Читая её, можно подумать, что Уитман был политический деятель, не лишённый некоторых философских воззрений.

14) «Walt Whitman» by Hugh J. A. Fausset. London, 1942. — Гью Айенсон Фоссет. «Уолт Уитман». Лучшая биография Уитмана, написанная одним из выдающихся английских критиков нашего времени, автором известных монографий о Льве Толстом, Джоне Китсе, Вордсворте, Альфреде Теннисоне. В книге подробно и зорко прослежен — этап за этапом — тот крутой многолетний путь, который привёл Уолта Уитмана к созданию «Листьев травы». С такой же обстоятельностью описан и долгий период увядания, ущерба, наступивший в жизни Уолта Уитмана тотчас после гражданской войны. Как и в других биографиях Фоссета, анализ в этой биографии сильно преобладает над синтезом.

Большое внимание уделяет Фоссет социальным проблемам, связанным с изучением жизни и творчества Уитмана. Одна из лучших глав во всей книге (названная «Ураган и — после») посвящена участию Уитмана в гражданской войне. Высокие научные достоинства книги, а также её гибкий, пластически образный стиль делают её вне всякого сравнения наиболее ценным исследованием жизни и поэзии Уитмана.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
Корней Чуковский. Уолт Уитман, его жизнь и творчество . . . . .	5
Л И С Т Ъ Я Т Р А В Ы	
Песня радостей . . . . .	43
Когда я услышал к концу дня . . . . .	49
Европейскому революционеру . . . . .	50
Если кого я люблю . . . . .	52
О ты, за кем, бессловесный . . . . .	52
✓ Мир под морской водой . . . . .	52
✓ Ночью на морском берегу . . . . .	53
Если бы мне было дано . . . . .	54
Годы современности . . . . .	54
Щедрым даятелям . . . . .	56
✓ Мне приснился город . . . . .	56
Поэма изумления при виде воскресшей пшеницы . . . . .	56
Слёзы . . . . .	58
Читая книгу . . . . .	59
Отвечайте мне! Отвечайте! . . . . .	59
Европа . . . . .	62
Мы — мальчишки . . . . .	64
Одного я пою . . . . .	64
✓ Не закрывайте ваших дверей . . . . .	65
Тебе (Первый встречный) . . . . .	65
Пионеры! о, пионеры! . . . . .	65
✓ В мыслях моих проходя . . . . .	68 ✓
✓ Для тебя, Демократия . . . . .	68 ✓
Когда я, как Адам . . . . .	69
В тоске и в раздумьи . . . . .	69
Я вижу: голый красавец-гигант . . . . .	70
Камерадо, это — не книга . . . . .	70
Скво . . . . .	71
Незнакомому . . . . .	71
Городская мертвецкая . . . . .	72
✓ Испания в 1873—1874 гг. . . . .	73
Бей! бей! барабан! . . . . .	73
Как штурман . . . . .	74
Ледяной ураган, словно бритвами . . . . .	75
Вы, преступники, судимые в судах . . . . .	75
Песня большой дороги . . . . .	76
Я не доступен тревогам . . . . .	81
Заурядной проститутке . . . . .	82
Тебе . . . . .	82

✓ Любви́ная ласка орлов . . . . .	84
✓ Одно́му шта́тскому . . . . .	84
Летописцы́ будущи́х веков . . . . .	85
Когда́ во дворе́ перед́ домо́м . . . . .	86
То́му, кто́ скоро́ умре́т . . . . .	94
✓ Ручно́е зерка́ло . . . . .	94
Где́ осаждённая́ крепо́сть? . . . . .	95
Одна́жды́ я прохо́дил по́ многолю́дному́ горо́ду . . . . .	95
Неко́ей певи́це . . . . .	96
Отрыво́к . . . . .	96
Деревенская́ картина́ . . . . .	96
Изу́мление́ ребёнка́ . . . . .	96
Краси́вые же́нщины . . . . .	96
Мысль . . . . .	97
Вокали́зм . . . . .	97
Электри́ческое́ тело́ пою́ . . . . .	98
Песня́ о выставке́ . . . . .	101
Ты, загорелый́ мальчи́шка из прерий́ . . . . .	105
Час́ безу́мству́ и сча́стью . . . . .	105
Песня́ знамени́ на у́тренней́ заре́ . . . . .	106
Мы́ двое́, каќ долго́ мы́ были́ обма́нуты́ . . . . .	112
Стра́шное́ сомне́нье́ в обли́чья́х . . . . .	112
Запру́жены́ реки́ мои́ . . . . .	113
Дряхлый́, больно́й, я́ сижу́ и пишу́ . . . . .	115
Когда́ конча́ется́ ослепи́тельность́ дня́ . . . . .	115
✓ Стари́ковское́ спасибо́ . . . . .	116
Песня́ о себе́ . . . . .	116
О Ка́питан!́ мой Ка́питан!́ . . . . .	167

#### П Р О З А

Письмо́ к русско́му . . . . .	169
Часы́ для́ души́ . . . . .	170
Молчали́вый ге́нерал . . . . .	172
Кни́ги Э́мерсона́ . . . . .	173
Демократи́ческие́ дали́ . . . . .	176

#### П Р И Л О Ж Е Н И Я

Из а́нгло-амери́канских́ материа́лов об Уи́тмане́ . . . . .	194
Турге́нев и Лев́ Толсто́й о «Ли́стья́х тра́вы» . . . . .	200
Уи́тман и Ма́яковский́ . . . . .	205
Библио́графия . . . . .	212

*Реда́ктор Б. Су́чков*

*Обложка́ худ. Н. В. Ильи́на*

---

Подпи́сано́ к печати́ 11/IX 1944 г. А-7920. Тира́ж 10 000 экз.  
13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печ. л. 11,30 уч.-авт. л. Зак. № 157. Цена́ 6 руб.

---

3-я тип. «Красный́ пролетарий́» треста́ «Поли́графкни́га» Огиза́  
при СНК РСФСР. Москва́, Краснопролетарская́, 16.

### ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует</i>
15	1 стр.	Yistas	Vistas
36	18 св.	1905—1017	1905—1917
86	13 св.	фактический	фанатический
213	12 стр.	The Stry	The Story
214	17 стр.	J'Anson	I'Anson

6 руб.

О Г И З  
ГОСЛИТИЗДАТ  
1944